

Федор Ермошин

ОСТРЫЙ ЖИВОТ

Роман

Даше

Вот почему, когда мы умираем,
Оказывается, что ни полслова
Не написали о себе самих,
И то, что прежде нам казалось нами,
Идет по кругу
Спокойно, отчужденно, вне сравнений
И нас уже в себе не заключает.

Арсений Тарковский

Плоть на нем пропадает,
так, что её не видно,
и выказываются кости его,
которых не было видно.

Иов 33:21

Может честь приставить мне ногу? Нет. Или руку? Нет.
Или унять боль от раны? Нет. Значит, честь – плохой хирург?
Безусловно. Что же такое честь? Слово.
Что же заключено в этом слове? Воздух.
Хорош барыш!

Фальстаф у Шекспира

...И смертию живот даришь.
Державин. Ода «Бог»

Всякое дыхание да хвалит Господа.
Пс. 150:6

27 октября 2003.

Понедельник

1

Ранним утром я проснулся от боли в животе.

Мне снилось, что Лена беременна от меня, и её живот уже всем виден. Мы едем по узкой горной дороге на старом белом автомобиле со сменным колесом на боку – объясняться с её родителями.

Боль не давала спать, и я открыл глаза. Какой сон идиотский. Постыдный, гнусный сон. Почему Лена?..

За окном падал снег. По потолку ползали размытые белесые квадраты. Отсветы автомобильных фар проникали сквозь замерзшее белье на балконе. Я увидел свое запястье. Рука была изрисована ручкой, лежавшей на простыне. Рядом валялась исписанная тетрадь.

Тапки шныряли по полу, как субмарины в подводной тьме, подталкиваемые то мамой, то сестрой, когда они торопливо проходили мимо. Скрипела балконная дверь, обдавая студеным зимним холодом мои бесприютные пятки.

Трудно поверить, что хоть кто-то в городе шевелится, одевается, завтракает. В коридоре ещё вчера перегорела лампочка, темно. Так охота снова зажмуриться, прислониться щекой к угретой подушке.

Саня, брат мой, резко поднялся с соседней кровати.

На кухне скрежетала ручная кофемолка.

Скрипел, то открываясь, то затворяясь, рассохшийся шкаф.

– Что ж ты портфелем-то по полу возишь? – послышался из коридора раздраженный мамин голос. – Тут миллион народу за день проходит! Молодеец...

Это моя сестра Маша собирается в школу. Пытается достать с вешалки пуховик, борется с другими куртками, которые выпирают из недр гардероба, а портфель, уже наброшенный было на спину, скинут на пол.

Маша обиженно засопела. Снова взвалила на себя портфель, чуть подпрыгнув. Саня щелкнул туалетной задвижкой в конце коридора.

Из-за приоткрытой кухонной двери лучится свет. Папа на кухне, конечно же, ждет, пока сварится кофе, и, положив ногу на ногу, под теплым плетеным абажуром читает случайную газету. Будто готов сразу подняться по маминой тревоге.

Если долго с кем-то живёшь, всегда знаешь, кто и что делает...

Считаю до ста. Потом ещё раз.

Вдруг вскочил.

Если мама с Машей уже уходят, значит – минимум полвосьмого?

Живот болит, собака. Как будто горячим сургучом прижигают.

...Я перебрался на пол в одних трусах и стал второпях отжиматься. Бросил. С силой сжал рукой глазницы. Нахлынули золотистые волны, похожие на вулканическую магму, затмили взор.

Я встряхнул головой, рассеянно перекрестился на синее окно, и побрел по коридору.

Когда я вышел из туалета, Саня в ванной все ещё гляделся в зеркало, оскалившись тигром, и скоблил ногтем зубы, будто их изучая. Я сел на бортик ванны с щеткой в руке:

– Давай в темпе, а?

Не дожидаясь, пока он наберет в рот воды, я плотно уперся локтем ему в бок, а другую руку поставил под кран, захватывая всё пространство по праву старшего.

Саня ретировался без звука, но подло выключил за собой свет. Я со злобой толкнул дверь, протянул руку к выключателю. Плеснул себе водичкой на лицо, вымыл руки, подмышки, шею. Обтёрся махровым полотенцем. Вышел.

– Мам, чё-то у меня живот болит...

– Нё хрена было шаурму жрать на Киевском, – с холодком в голосе ответила мама, тем тоном, который я не мог выносить. – Говорили тебе: надо обедать по-людски. Тебе как об стенку горох.

Она прошла в дальний коридор, и стала надевать сапоги с отсутствующим видом.

– Спасибо, – процедил я.

– Ну, а что ты от меня хочешь?! Андрей, вкрути лампочку, что мы должны жить в потемках!

И только теперь я вспомнил, что мы с ней вчера жутко поругались.

Зашёл в комнату. Сел на теплую кровать. Главное – не забираться под одеяло. Главное...

Выгреб ладонью пятирублевые монеты из жестяной коробочки на полке шкафа. Потом сложил найденные там же десятки, сунул их в карман. В нижнем ящике гардероба нащупал носки, более-менее сходные по цвету, по длине.

– Федя! – мама крикнула мне из коридора. – Федя! Закрой за нами.

– Да понял я!

Второпях схватил со стула скомканные джинсы. Мелочь рассыпалась, зазвякала по полу. Стал собирать. Потом побросал подушки и простыню внутрь разверстого дивана, захлопнул его челюсть.

Напялил новый белый свитер. Постоял, отдышавшись. Все, пора.

Кофе на кухне зашипел, и, как всегда, сбежал.

– Поесть чего-нибудь не хочешь? – спросил папа, степенно, будто ничего не случилось, обтирая кофейник, который распространял крепкий запах молотых зерен.

– Не-хо-чу.

– Есть тут сосиски. Чаю... Молока...

– Да не, пап, серьезно не хочу, – сказал я, потирая шею.

На кухне ошивался Саня, он со мной уже неделю не разговаривает. От одной его физиономии аппетит пропадет.

Папа налил себе кофе в мелкую, наперсточную чашку, разбавил его молоком из пакета, и украдкой вернулся к газете, которая как бы случайно отвлекла его от дел.

Ночь за окном превращалась в утро.

– Как у тебя с финансами? – папа ещё раз чуть приподнялся со стула.

– Все нормалек, – я беспорядочно запихнул в рюкзак тетради и учебники. – Закрой за мной, плиз...

Я грохнул дверью, впопыхах застегнул куцую куртку. С силой несколько раз вдавил пальцем в звонок, чтобы закрыть не забыли.

2

На улице горели фонари, холодным светом обдавая заиндеветшие ветви. Ларьки мерцали ночными огнями. Как жестяные, последние листочки ржаво блестели на кустах.

Я шел по тротуару. Снег то начинался, то переставал – будто кто-то дёргал хлопущи, но они, сырые, профукивались, и конфетти безжизненно осыпалось вниз.

В темном воздухе зажигались новые окна. Вблизи, в доме сразу за кустами; вдали, где многоэтажка была похожа на огромный просвеченный трафарет. Окон становилось все больше.

От нечего делать я стал брать интервью у самого себя. Замолк. На пороге магазина, мимо которого я брел, возник охранник в наброшенной на рубаху пухлой куртке с нашивкой. Он просторно зевнул, щелкнул зажигалкой, и затаился, непроницаемо глядя сквозь меня.

Бабки, торговавшие сигаретами, сердито перетаптывались, карауля свои деревянные ящики, на которых блестели глянцевые пачки, заботливо укрытые целлофаном.

Зазевавшись, я поскользнулся и вдруг завалился, рухнул набок, к их ногам. Мелочь из кармана снова просыпалась, влипла в снег. Я стал стыдливо собирать

её, в темноте путая монетки с отпечатками в снегу тех, что уже прежде собрал. Бабульки перестали приплясывать, всмотрелись с тревожным интересом. Я поднялся и поспешил вдаль по дорожной зебре.

Монстры автомобилей рычали. То и дело останавливались, понурые, как звери, бредущие на водопой, карабкались на пригорок, за которым заканчивался город. По асфальту рассыпались зерна фар, беспорядочный световой горох.

В ожидании маршрутки я прислонился спиной к торцу автобусной остановки, под буквой «А», витой, старомодной, с вензелями. Автобуса – не было. Считай, уже опоздал.

Напротив, на доске объявлений, пластались драные афиши, трепетали от ветра. А под доской бузили воробьи. Они ковыряли хлеб, выворачивали шеи, клювами дергали крошки.

Я прыгнул, шлёпнул ногой. Надо же, они совсем не испугались, и по-прежнему поделывали что-то своё. Привычные к стрессу.

Модные девичьи сапожки мяли соль. На остановке топталась толпа, создавая сплошной козырёк из зонтов. Люди всматривались в дорогу, объединенные ожиданием света и тепла.

Налетел ветер, пригнал с собой смятый красный пластиковый стаканчик, и он канул в самую в воробьиную гущу, завертелся, как юла. Птицы разлетелись.

Вдруг я увидел на горизонте длинный автобус до Юго-Западной, с гармонью, соединяющей два салона в один. Рискну, хотя ни разу на нём не ездил: маршрут недавно запустили.

Был виден водитель в водолазке, будто шкипер на летучем голландце. Часть пассажиров сгрудилась возле дверей, отчетливо прижавшись к стеклу; остальные тени лишь угадывались, как молчаливая команда. В этой ветряной мокряди почему-то кажется, что там, внутри, уютнее.

Зонты съезжились. Народ приготовился к штурму. Я тоже забрался на край приступки, придерживая живот, охавший пронзительной, настойчивой болью, и протиснулся внутрь.

Схватился за поручень. И вот мы уже ехали, дыша в запотевшие окна. Неловко протирать стекло пятерней прямо перед лицом молодой девушки в берете. Засыпая, она держала в ладонях мятую книжку по менеджменту. С шарфа, с волос тающий снег капал на страницы. А слева от неё дремала бабуля с сумками в ногах.

Вдруг девчонке позвонили. Она откликнулась, тут же протирая глаза:

– Да я тут застряла... Ага... Крутяк. Прозвон кинуть можешь? Есть там кто, нет на паре? Или эсэмэсни хотя бы...

Сегодня я увижу Катю на лекции. Только бы её увидеть. Она редко бывает. В прошлый раз не явилась. И с чего ты взял, что появится в этот? Она же тебе ничего не обещала. Ты ей обещал.

Тяжелые, слипшиеся хлопья – полуснег, полудождь – таяли, ложились на окно, летели дальше, не прицепившись, на ходу погибая.

Стараясь не сорвать дряхлую застежку-молнию, я достал из портфеля потрепанную книжку «Мадам Бовари». И вдруг впервые почувствовал, что трепет острой боли в животе стал невыносим. Мутило, подкатывало. Слишком уж неприлично она заявляла о себе. Давила крепко, по-хозяйски.

Я заметил, что расплетаю один и тот же абзац. Расстегнул куртку. На горячем лбу холодел пот. Рана внутри толкала, пульсировала, ныла. Я прижал к животу локоть, согнулся. Что ж такое-то, а?

Приличия отошли на задний план. Я закрыл глаза, все сильнее скукоживаясь, Послышался свежий зеленый запах. Чуть не уткнулся носом в бабулину сумку, набитую петрушкой и укропом.

Мрачно поблескивал за окном эвакуатор. Щели между плитами пешеходной дорожки, заполненные водой, мерцали зигзагами. Дядька впереди, сбив прическу рукой, спал, по-детски завернув руку себе под щеку.

Резко развернулись. И оказалось, что мы уже в Москве. Автобус выруливал к синим будкам биотуалетов, задам магазинов, где обычно курят продавщицы. Автолайн остановился.

Неужели уже приехали?..

Я протянул водителю деньги и спрыгнул с автобусной приступки на мороз.

Сонная девушка с книжкой, перед тем, как выбежать, нарисовала смайл на дверном стекле. Никто другой, кроме меня, этого не заметил. А она не знала о моей боли. Новые тающие снежинки смазывали кривой рисунок на двери.

3

Ковылял, распахнув куртку. Шарф выбился наружу, вздыбился воротник.

Шел мимо стройки. Забор мелькал черно-белыми полосами. Арбайтеры сидели на корточках в огромной круглой трубе, пережидая непогоду. Страшно было внезапно увидеть их близкие глаза из тьмы.

Я искал метро, то и дело с усилием глотая холодный воздух. Продираться через каждую секунду становилось просто мучительно. Ну и куда ты поперся?..

Я сгреб снег рукой и утер им лицо.

Вдали, за лилипутскими домами, возвышалась гигантская башня, похожая на сталагмит. Буква «М» краснела над переходом. Я стал спускаться вместе с народом по скользким ступеням. Месили слякоть. Гул метро слышался издалека, захватывал ураганом.

По перрону шаркала пенсионерка в калошах, согнувшись параллельно полу, с заметным горбом и двумя сумками, в которые была напихана какая-то старая одежда. На носу у неё кривились очки, в седом ухе торчал слуховой аппарат.

Она упиралась головой в пространство впереди. Я спросил сквозь шум:

– Вам помочь?

– Ничего мне не надо. – Она отвернулась. Из тоннеля налетал ветер. – Спасибо, – добавила она, немного помолчав, всё также согнувшись в три погибели.

Ну, не надо так не надо. Тут же на станцию выпрыгнул поезд, но уже замедлялся, не так буйно били его копыта. Двери пшикнули пневматикой, закрылись за мной. В вагоне моргнул свет.

– Навесил бурдюк, – бросила мне какая-то угрюмая тётка. Я понял, что это про рюкзак. Ответить нечего, я забыл про него, а теперь не мог даже шевельнуться.

Я раздраженно остудил лоб, уткнувшись виском в стекло. Уперся пальцами в надпись «Не прислоняться». Вторая рука неудобно свисала, я едва мог пошевелить пальцами из-за давки.

Странная боль. Крутит, сжимает, колет.

Поезд вынырнул на Вернадского. Я поскорее отнял голову от дверей, что раскрылись почти на ходу. Запахло черносливом машинного масла, осипшими тормозными колодками. Стало свободней.

Кто-то ехал, оберегая в газетном кульке четыре гвоздики. Кто-то – оказался застигнут толпой с журналом про виртуальную реальность.

В наши двери зашла черноволосая девушка в легкой куртке. Двери столкнулись.

Я снова ловил лбом пролетающий сквозняк. Покосился, цепко вгляделся в черты её лица, деформированные стеклом. Темные ресницы, обиженный взгляд. Волосы в пучок. На неё хотелось смотреть. Но я знал, что мне все равно. Она слушала квадратный старомодный плеер, теребя в пальцах вторую подушку наушника на проводке.

Подошла вплотную к дверям. В стекле отразилась, так близко. Смотрела в упор. Южная какая-то. «Нерусская». Может, она просто смотрится в зеркало? Или – на меня?..

Насмешливо смахнула челку.

Поезд стучал и скакал, отдавая гулом в ногах. Я глянул на её руки. Красные обкусанные ногти со множеством заусенцев.

Поднял глаза. Она с вызовом смотрела на меня, задрав голову. Острый взгляд. Резкий, черный, как волос смычка. Раненый, ранящий, ранимый.

Зрение потеряло фокус. Теперь – только серый пластилин проносящихся проводов.

Подняла воротник куртки не по сезону. И отвернулась.

Поезд неся, будто ажитато бешеной симфонии, и затихал. Станция Бирюзайка, кому надо – вылезай-ка, как говорит баба Галя.

Чередили квадратики желтого кафеля. Проползали древние буквы на стене: «Уни-вер-си-тет».

Она несмело вышла из дверей, огляделась, слегка щурясь.

На табло рядом с тоннелем – девять ноль шесть.

Почти успел на пару.

Убегала по лестнице.

Ничего не чувствую. Нуль. Я люблю только одну. Внешность бывает пронзительна – будто ты её угадал или она *тебя* разгадала. Но секрет не сообщить никому, никогда, чувство бьется внутри, переполняя ненастьем. Мне не нужна другая. Катя единственная. Всё остальное – бредовые сны и крестинские переглядки.

Впереди – ползучие ковры эскалаторов, водопадом стекавших и поднимавшихся обратно. Я сунул руку в карман куртки, пытаюсь прижать боль. Локтем уперся в твердыню эскалаторного поручня.

Ругал себя, ругал боль в себе, её чудовищный гнет, бесконечный, упрямый сигнал. Мужик ты или не мужик? Перетерпи, ну! Ты ведь должен кровь из носу быть сегодня на лекции.

Зачем же ты переглядывался с этой? Из любопытства? Из глупой мести...

Снова съёжился. Судорожно обхватил руками живот.

Боль сбила мысли.

Уличный холод, проникая сквозь двери, выл, вытягивал наружу всех выходящих.

4

На улице, как дорогого гостя, меня встречали старые знакомые: тетка, которая держала на вытянутой руке листовку «Здоровый позвоночник – это реально», и негр в большущей, сшитой по размеру туловища, будке – картонной рекламе. На его груди бликовала надпись: «Я загорел здесь», и был написан адрес солярия. Они с теткой о чем-то переговаривались. Так и до свадьбы недалеко.

Я, как всегда, выхватил протянутые бумажки из белых ладоней негра, набегу запихнул их в карман. Стало ещё зябче.

Домой бы. Мне бы, как волку – зализать раны втайне ото всех, и вновь выйти на люди подтянутым и острозубым.

Но дойдя до светофора, я сразу заметил Лиду. Она стояла в ожидании зеленого, в забавной вязаной шапке, придерживая сумочку, и всматривалась в даль. Снег, заматеревший, клочковатый, то и дело менял направление, хаотично танцевал в арктическом ветре. Лида, меня не замечая, смотрела в другую сторону. Плясали тесемки от шапки. Я уже не мог уйти. Мне радостно было её

видеть.

– А здорово!

Она свойски улыбнулась ямочками на щеках.

– Как оно?.. – затараторил я. – Не знаю, как ты, а я у Дымовой несчастный гость, – и я умолк, чтоб отдышаться. – А она тетка взбалмошная, ой, взбалмошная!

– Ну, на экзамене она вряд ли будет пупырить, – отозвалась Лида. – Тех, кто ходил. А вот тех, кто *не*...

Лида почти родной человек в этом универском калейдоскопе. А главное, этот её несовременный навык благородной дружбы – той, которой никогда не бывает много и которой все ждут. Но не сейчас. Хотелось от неё отстать, не говорить – из скромности, смешанной с гордыней. Зачем грузить другого? Не надо.

Слева шагали прутья ограды, справа – путались замершие толстые ветви яблонь. Лида ловко топала на высоких каблуках по скользкой аллее.

– ...и конспекты попроси... – договорила она что-то важное о том, что я, конечно же, забыл бы сделать, если бы она не напомнила. Но я не слушал.

Вдруг между нами промчался старый знакомый. Тот, что бегают с сумкой наперевес, в голос поет попсу, а одет всегда в расписные розовые рубашки. Говорят, у него очень грустная судьба.

Мы переглянулись, я через силу хохотнул. Но тут же лицо против воли скривилось.

– Что с тобой, Федь? – спросила Лида, совершенно вдруг отбросив вежливость.

– Ничего... – но не удержался, сказал. – Лидк, так живот болит. С самого утра... – я сжал зубы и испугался искренности. – Узус какой-то.

– Так надо ношпочки выпить! – бодро сказала она.

– Суупер! – ответил я энергично, как обычно говорит её лучшая подружка Лена. – А где аптека? Есть поблизости?

– Да прямо у нас в корпусе. Щас покажу.

– Thanks a lot. Как тебе погода сегодня? Кончились летние деньки! Кранты!

Подойдя к воротам, я пропустил Лиду вперед, уперся рукой в стену арки, снова чуть не рухнул на голом льду. Впереди высился развесистый, словно детская карусель, каштан, под которым летом сидели, пили, пели, а сейчас был только прибывающий снег.

Ношпа поможет. Должна помочь. Скотская боль.

Отшвырнули стеклянные двери, обстучали снег. Огромная батарея шумела, как Ниагара, охватывая теплом. Я сразу хотел направиться к проходной, но Лида остановилась у зеркала, стала расчесывать волосы.

– Да, Феденька, я прям к аптечке и подойду – воон туда...

Лида говорила уменьшительно-ласкательно в подражание Лене, и будь мне получше, я бы над ней подтрунил.

Я сунул охраннику студак в растрескавшемся чехле. Меня окружил приветливый шум универа, где незаметно течет время, то и дело нужно ухватить реплику, взгляд, тетрадку, пройти сквозь дым – и так проходит день.

Впереди светился аптечный киоск. Я заглянул в окошко, удерживая лицо от гримасы боли:

– Простите, у вас от живота что-нибудь есть? Ношпа там...

– Это зависит от того, есть ли у вас мелочь, – сказала аптекарша и уставилась на меня из-под очков.

– Может, и найду.

Она отложила журнал.

– Много от живота, смотря что и кому. Ношпа, мезим, регулакс...

– Ношпу, ношпу, будьте добры, – я протянул сотню.

– Ну, где мне вам десятки найти, скажите пожалуйста?

Я дрожащими руками нарыл горсть мелочи, схватил легкую пачку, похожую на советские сигареты.

Нервно вскрыл упаковку.

Но от одной мысли, что таблетку надо проглотить, мне почему-то стало не по себе. Выдавил одну из блистера. Ощутил металлический, чужой, меловый привкус на языке.

Сати за прилавком громко болтала по мобильнику, перебивая, выкрикивая непонятные проклятия на чужом языке, видимо, очередному своему парню.

С силой вдавила на кнопку «отбой» на полуслове.

– «Тонус», ноль пять, апельсиновый, – я положил двадцать рублей на тарелочку.

Но Сатин телефон опять раскатился дробной лезгинкой, возвещая о новом звонке. Она закричала в трубку: «Не звони мне большэ, понил!», и в ярости треснула пакетом сока о прилавок.

Я запил горьковатую таблетку. Сок показался прогорклым, безвкусным, будто вода из болота.

Лида спешила по лестнице. Но о чем, сверх ношпы, я могу у неё попросить?

– Сколько там на твоих золотых?

– Двадцать минут десятого, – сказала Лида, глядя на миниатюрные часы на запястье.

– Практически в графике, да?

– Обижаешь!

Двери раскрылись. Мы шагнули в лифт.

Приотворив тяжелую дверь Лингафона, я пропустил Лиду вперед. Заранее ссутулился, будто перебежал по простреливаемой местности.

К счастью, Дымовой в кабинете не оказалось. Как всегда, дала задание и ушла. Но девчонки были чем-то заняты, давно и углубленно что-то там изучали.

Лида направилась к свободному столу, выцокивая каблуками, радостно улыбнулась Лене и Белке, будто они вместе торжествовали по поводу какого-то неизвестного остальным события.

Я плюхнулся на стул возле стола, остекленного с трех сторон, стянул с себя шарф. Лена сидела впереди, склонившись над листочками. Я видел только её коротко стриженный затылок. Стукнул в стекло:

– Привет от старых штиблет. А чё делать-то надо? Какой юнит?

Она обернулась и укоризненно посмотрела на меня:

– Феденька, не мешай другим, а?

Вдруг, неслышно прикрыв дверь, всплыла Дымова. Она бережно несла стаканчик кофе в руках, неторопливо села за стол. Все нырнули поглубже в стеклянные бассейны, попрятались в наушники.

Дымова прищурившись, остановилась на мне немигающим взглядом, хитро ухмыльнулась:

– Решили прийти?..

Я не нашёлся, что ответить, только нервно повел бровями. Потом выдвинулся вперед, и опять тихонько забарабанил в стекло.

– Возьми у неё на столе бумажки и заполняй ответы, – вкрадчиво сказала Лена.

Я стер ладонью испарину со лба, подошёл к столу, взял бумаги, две передал Лиде, две швырнул себе на стол, и опять уселся в свой короб, огрузив курткой спинку сиденья.

Кажется, сегодня тест. Серьезный.

Боль разрывала изнутри.

Нажал на кнопку. В наушниках зарокотали по-английски. Ничего не понимаю.

– Ну, вы работайте, я сейчас вернусь, – сказала Дымова, и снова вышла в коридор.

Не могу вникнуть. Англичанин бормотал что-то про условия приема на работу. Я царапал виски пальцами:

– Пойду... выйду... – и испугался собственного хриплого голоса в наушниках.

Сжал в руках лицо, чтобы не вскрикнуть от боли.

Выскочил в коридор, и уже бежал вниз по пустой лестнице, открыл дверь в туалет. Болит – униженно, мутно, внизу живота, будто ударили в пах.

Подбежал к раковине, выкрутил вентиль крана. Обрызгал лицо холодной водой. Хлестала на свитер.

Кто-то вышел из кабинки. Надеюсь, я его не знаю.

Я плюнул в раковину, чтоб избавиться от привкуса ношпы и кислого сока.

Больше не мог сдерживать рвоту. Меня вывернуло чем-то желтым, желчью. Я сплюнул, высморкался, схватился за раковину от усталости, ожидая нового приступа тошноты.

Отдышался. Но боль жгла, давила, грызла. Потрогал живот, пытаюсь нащупать эпицентр где-то возле пупка – ещё больнее.

Парень подошел к соседней раковине, засучил рукава. Я открыл кран, торопливо сполоснул фаянс. Посмотрел в зеркало и увидел Женю – в вязаной бежевой жилетке и в галстукe, всё в тон, без лишних понтов, но стильненько. Я вымученно улыбнулся.

– Привет, – и он с готовностью протянул мне руку.

– Жень...

– Что-то случилось? – он потер переносицу.

У меня клацали зубы. Знобило.

– Живот что-то... – я приподнялся, вытер обветренные губы. – Прикинь, вырвало... Боль жуткая.

– У тебя сейчас пара? – он взгляделся внимательно, передернул широкими плечами, будто расправил их. – Тебе в поликлинику надо.

– У меня сейчас Дымова.

– Скажи Наталье Алексеевне, что тебе плохо, – бойко заговорил он. – Тебе нужен врач.

– У меня полиса нет. Да траванулся чем-нибудь.

– Ты в этом уверен? Нет! – Женя рассуждал быстро и внятно, как готовый препод. – Значит... Ничего, по студенческому примут. Должны, – он ещё раз глянул на меня деловито и ясно, и снова быстро заговорил с едва заметным немосковским выговором. – С животом шутить опасно. Я знаю, что это такое, когда болит живот. Мы филологи. А смотреть должен врач. Помнишь, где поликлиника?

– Разберусь...

Он на секунду задумался. Сказал с готовностью:

– Мне с тобой пойти?

– Да все пучком, – промямлил я.

– Федь, не проблема, провожу.

– Не надо!

– Надо.

Мой организм отказывался принимать решения. Тело давало сигнал: распластаться. Ум говорил: необходим поводыр.

Это было так хорошо – опереться на плечо, ни о чем не думать. Но Женя ведь не знает, сколько раз я забивал Дымову, и неплохо бы мне быть на этом долбанном аудировании. У него-то проблем с учебой нет...

Поезд, в котором неслись мои, там, в Лингафоне, куда-то уходил.

– Вещи не забудь, – быстро инструктировал Женя. – Сначала в поликлинику, потом домой поедешь. – Не торопись....

Он вытер руки о платок, и открыл передо мною дверь.

6

Отвесно падал снег, уже не таял, ложился ковром – на землю, на деревья, на мощные «джипяры», оставленные юрфаковцами.

Редко я тут ходил. А Женя знал всю эту огромную территорию назубок.

– Тут недолго, ты помнишь, – сказал он.

– Да уж какое там... – откликнулся я. – Без тебя бы заплутал, как пить дать. Ты прям – Верхилий мой, понимаешь!

Он неожиданно, счастливо, легко рассмеялся:

– Тонкие аллюзии, – и острой, широкой ладонью потер переносицу.

Я мельком, с настороженностью глядел на него. Мне нравился его аккуратизм, прилично повязанный шарф и ладный, как у банкира, чемоданчик. В этом сквозил вызов: типичные филологи – неухоженные, замызганные, взъерошенные. А он – подтянутый, точный, вносящий иную скорость жизни, нездешний, другой...

Я шагал рядом, расправляя свой куцый шарф. Сунул руки поглубже в рукава куртки, прижав их к животу. Снова тошнило.

Обычно мы с ним всегда о чем-нибудь разговаривали, но сейчас он молчал, будто уважал мою боль.

Шли, и шли.

Нет, зря я всё-таки согласился. Женя ведь состоит в *партии*. Помню, спросил его: слушай, будь сейчас комсомол, ты бы и в него вступил? Он тут же ответил: конечно! понимаешь, только так – организованно, изнутри – можно что-то изменить...

В каждом его шаге и теперь чувствовалась энергия, какое-то советское горение, жажда широкого поступка. Это могло нравиться или бесить. А мне было непонятно.

Подшли к крыльцу. Около двери, закрывая собой проем, стоял широкоплечий кавказец в пиджаке и черной вязаной шапке. Он говорил на своем наречии, но одновременно выхаркивал однообразный русский мат. Потом слегка приподнял одну ногу, подтянул рукой яйцо, и окончательно перегородил собой дверь.

Женя уверенно двинулся вперед, непринуждённо прошел впритирку с кавказцем. Я прошмыгнул за Женей, оттягивая тугую дверную пружину.

Незнакомец продолжал увлеченно говорить, обивая дверь глянцевитым ботинком.

7

– Выйдите, я позову.

В руках у врачихи я разглядел зеркальце и щеточку для туши.

Женя галантно закрыл дверь.

В коридоре носился запах хлорки и лекарств. Я сложил руки крест-накрест, обхватил бока, сминая тонкую, как письмо, медкарту.

Кроме нас к терапевту никого не было. Рядом, на лавочке, сидел дедулька к соседнему лору.

Ждали. Жене позвонили на мобильный, он ответил:

– Позже наберу.

Я заметил:

– У моего брата такой же... Нокия, да?

– Ну да.

– А я вот всё не заведу что-то... Говорят, на мозги влияет.

– И ты этому веришь? – искренне засмеялся Женя.

– Понимаешь, дело даже не в этом. Просто в мобиле есть опасность... зависимости. Как будто тебя везде могут достать. Конечно, это чушь, надо мной в этом плане все ржут, как над параноиком...

Ох, как надо мной иронизировала Катя. Сама она постоянно пишет кому-то смски на парах. Кому?... Говорит, что подруге. Врет, небось.

Тем временем, мягко, как кошка, ступая по линолеуму, к нам двигалась девушка с копной светлых волос. Положила документы на подоконник, встала между нами и дверью. Бумажки чуть не улетели от ветра из-под рамы. Она вернула листки на место, делая странные пассы руками:

– Лежать. Лежать.

Поправила очки. Стала рыться в сумочке, одновременно обратилась к нам, глядя туманно:

– Ребят, мне сказали без очереди пройти. У меня температура тридцать восемь.

На губах блуждала улыбка.

– Не надо, – неожиданно сказал Женя. – Здесь ваше обаяние не подействует. К сожалению, тут у молодого человека живот болит, дело действительно неотложное.

Он так же вежливо улыбнулся.

Она откинулась затылком к неровной желтой стене.

Грубовато все-таки...

Девушка села прямо на пол, свесила сумку. Отсутствующе поглядела в потолок блестящими глазами – может, ей и вправду было плохо. Может, и не надо так.

К нам подошла другая девица вместе с каким-то парнем, крепкая, в военном костюме.

– К лору живая очередь? Или по талонам?

– А? – дед, сидевший в полутени, переспросил, не расслышав. – А! Живая, живая, всегда живая.

Ждали.

Внезапно старик встал с банкетки:

– Бациллы же надо надевать.

Он достал из кармана поношенные бахилы, горбясь, стал нацеливать один на носок, потом, кряхтя, на другой. Девушка с парнем смотрели на него свысока.

Старик тем временем нацепил очки и стал судорожно перебирать в руках бумажки, запутался в них.

Девушка-милитари, сидевшая рядом с парнем в нетерпении, постучалась, открыла дверь.

– Заходите, – донесся голос врача.

– Заходите! – колюче сказала военизированная, обращаясь к деду. – До утра будем сидеть! Присел!

Теперь только стало ясно, что дед почти глухой. Он встал, все так же неловко перебирая бумажки, закрыл за собой.

Вскоре из-за двери опять раздался пронзительный крик:

– Полис! Георгий Юрьевич! По-лис!

Наконец, меня тоже позвали.

Я ещё раз обратился к девушке, сидевшей на полу.

– Прошу вас.

– Нет, спасибо. Нет. Спасибо, – отчетливо ответила она, и оскорбленно уставилась в пол.

Вошли с Женей в светлый кабинет. Здесь пронзительно, но уютно пахло лаком для ногтей. Врачиха бросила недоверчивый взгляд на медкарту.

– Объявление на двери для вас написано, мистер Ермошин.

– Что? – я изобразил наив.

– Выйдите, посмотрите.

Я покорно удалился за дверь, разглядел на двери листок с надписью: «Верхнюю одежду сдавать в гардероб». И снова вернулся.

– В гардеер-об! – сказала врачиха, будто скомандовала «шагом марш».

Я замешкался.

– Другу вашему куртку оставьте, – смиростивилась она, принимая паспорт. – А что не заходили перед началом года? У вас же спецгруппа, – она осмотрела меня, весело переглянувшись с Женей. Одной рукой листала медкарту, а другой переминала в пальцах огрызок карандаша, будто хотела его сломать. – Полис давай свой.

Я напрягся, покачал головой:

– Нету. Не взял... Я – филолог...

– Тебе в регистратуре ничего не говорили, нет?

– Ну, сказали, чтобы попробовал. Я – «с острой болью»...

Она покачалась на массивном кубическом кресле, сохраняя недоумевающее выражение лица.

– Раздевайся до пояса.

Я быстро снял куртку, свитер, майку, сложил всё это на кушетке.

– Приляг.

Я расшнуровал ботинки. А носки-то, блин, разные по цвету. При дневном свете особенно заметно.

– Ложись быстрее, – сказала врачиха, глядя в окно, пока я шуршал клеенкой. Подтянула мою голову к себе ухоженными пальцами. – На спину... Щас болит?.. Да нет, – она устало выдохнула. – Это на живот, а надо на спину. Где болит, можешь сказать?

– Вот... – рука блуждала по всему животу.

Женщина-врач взяла стетоскоп и стала что-то выслушивать, передвигая холодную бляшку слева направо. Потом промяла живот. Было ощущение, что везде больно, но особенно в середине, возле пупка.

– Что за боль? Ноющая, колющая, схваткообразная?

– Давит. И очень... вниз отдает.

Врачиха рассеянно кивнула головой.

– А тут? – и нажала в правой стороне.

– Вроде меньше, – я измученно дернул головой, – да везде болит. И рвота.

Женя присел на стул поодаль.

– Жирного ничего не ел?

– Вроде... не особо...

– Поноса нет?

Я смутился. Отчаянно закачал головой.

Она вдумчиво взяла руку у запястья, потрогала пульс, сдавив артерию. Помолчала. Наконец встала, брякнув стетоскопом на груди, будто столкнулись кубики при игре в кости.

– Одевайся!

Сидя на кушетке, я вывернул майку, стал торопливо натягивать на себя одежду, ожидая медицинского вердикта. Женя деликатно смотрел в окно.

Врачиха раскрыла карточку, на чистой разлинованной странице размашисто выводила буквы.

– ...А то, что вы животами маетесь... Надо есть вовремя. Носитесь, как угорелые, курите, а поесть не успеваешь нормально, так?

– Случается, – сказал я, хотя и не курил. Но она говорила так твердо, так дежурно, что ей хотелось верить.

Протянула мне маленький листочек с рецептом. Снова покачалась на стуле:

– За диетой следить надо.

– Я понял.

– Ну, и хорошо, что понял, – врачиха всё что-то строчила. – Не болей давай, – и снова в раскачке хлопнула квадратным кожаным креслом. Приподняла красивые глаза с маленькой припухлостью под веками, которая ей даже шла. – Учти, без полиса в следующий раз не приму. Хоть с животом, хоть без живота.

Я был благодарен ей. Она меня успокоила. Значит, ничего экстренного.

Благодаря и прощаясь, мы с Женей вышли и закрыли дверь. Больная девушка с характером, ожидавшая у входа, захлопнула книжку.

– Надо купить лекарства, – напомнил Женя. – Это уже кое-что.

Я закивал, хаотично бредя по коридору в поисках урны. Опять наваливалась дурнота. Сжимал в руках листочек, повторяя про себя как заклинание: баралгин. Спазмалгон. Ношпа...

Женя шел впереди широким шагом, но вдруг остановился.

– А денег-то у тебя хватит?

Я смущенно порылся в карманах.

– Что-то... поиздержался...

Он с готовностью достал бумажник, протянул новенький столярник, хлопнул по плечу:

– Давай, давай. Прямо сейчас купи. Смысл ведь в том, чтобы легче стало...

Я кивнул. Но тут же вцепился рукой в воротник. Опять подступила тошнота. Оставив Женю позади, я выбежал на лестничный пролет. Упал на корточки над железной урной. Живот и грудь сжали рвотные спазмы. Сплюнул. Легче не стало.

– Подожди, отдышись...

– Ты уж извини, нелицеприятно как-то...

– Да перестань ты.

Спустились по лестнице. Женя быстро взял в гардеробе пальто.

Долбанула дверь.

Мелкий снег сыпался навстречу. Крупные снежинки зависали в воздухе, как

стрекозы. Дурнота настигала по кругу. То и дело, чувствуя приступ, я хватался за забор, прикладывал ледяную руку к пылающему лбу.

– У меня ведь влажные салфетки есть, – вспомнил Женя.

– Суупер, – сказал я вяло. – Если можно...

Я вытер подбородок одной, в другую высморкался. Хватит испытывать чужое терпение. И все же – как хорошо, что он со мной возится. Слева мельтешила черная ограда. Так спокойно, сонно вокруг...

– Я щас домой, – сказал я.

– На метро?

– Ага.

– Сам доберешься? Помочь?

– Ни в коем! Спасибо тебе чисто человеческое.

Морозный пар от дыхания плыл впереди. Очень хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом.

– Ты не опаздываешь? – спросил я.

Женя взглянул на часы, отчетливые, приличные.

– Пол-одиннадцатого. Всё в норме, как раз. Я пораньше сегодня приехал.

Шли к метро. Теперь навстречу спешили толпы студентов – блондинки с модными зачесами назад в зимних наушниках на американский манер и лоснящихся шубках, парни с ободками-пружинками в волосах, смугляки с дредами...

Девушка в кислотных гетрах переходила на красный, опутав пальцы ручками картонных пакетов из бутика. Другая, в облипающих джинсах, стоя на самом краешке бордюра, артистично повела ногой в кеде, будто, шагнув на дорогу, она выберет судьбу. Из троллейбуса тоже вытолкнулись пассажиры, но толпа была серее, социальной, роднее.

Прощались торопливо.

– Женьк, баблосы завтра верну. Или в среду, ладно?

– Да хоть через месяц!

– Благодарю до гроба... – я старался быть бодрым. – Без тебя бы сгинул.

Женя отнекивался, слегка повел плечом, как бы расправляя его после долгого и упорного труда. Не должны партийные так себя вести. Причем здесь партийный. Просто он мне помог. Хочется, чтобы у него все получалось, чтобы этот молодецество – никуда не исчезало. Как когда наблюдаешь за классным игроком.

Он снял перчатку, я протянул ему озябшую руку.

– Слушай, если Яра встретишь, скажи ему... прямо как в ковбойских фильмах... скажи ему, что я его уважаю, – я картинно закашлялся.

Женя засмеялся белозубо, и сделал пару шагов. Уже встав на зебру, я услышал его звонкий голос:

– И дома останься, а то так можно...

Снег, будто телеграммы, не нашедшие адресата, летел, мок под ногами. Внутри всё всколыхивалось болью. С ним, кажется, можно дружить.

Перебежал на зеленый, между нами уже грохотали табуны машин. Я был на другой стороне.

Женщина с красноватым морщинистым лицом торговала хот-догами. Она сметала рукой в целлофановой перчатке слой снега, который валился на её блестящий агрегат. Во фрунт вытянулись приправы. Увидев меня, она с готовностью вынула щипцами сосиску. Всегда такая приветливая, будто обращается лично к тебе: «Кетчуп, майонез, горчица?».

Но я не за этим, меня тошнило.

– У вас пакетов не будет? – с надеждой спросил я.

Отряхнув руки, она потуже завязала фартук поверх куртки, хлопнула носом, безразлично покачала головой.

В лицо жажнула метель.

Жаль.

Поеду так. Придумаю что-нибудь. Только бы домой.

Я с силой толкнул плечом дверь метро.

9

Многие двигались навстречу, в город, но не вглубь. Эскалатор был пуст. Лужицы света блестели на пластиковых баллюстрадах. Гулял сквозняк, надувая, как парус, транспарант в конце лестницы.

Вдруг я услышал душераздирающий хриплый крик:

– Федь!

Я оглянулся, но никого не увидел. Странно. Приглючило? Опять закрыл глаза.

Несколько секунд лестница везла меня, и я молчал, вынынчивая боль.

Внезапно снова послышался безобразный крик: «Федь!», где-то совсем за моей спиной. Так орут пьяные фанаты.

Я обернулся.

На меня с разгону мчался Сева, стуча тяжелыми берцами по ступенькам, как будто сейчас снесет. Словно он охотился за мной, и вот догнал, и вбил в меня, как бильярдный шар, чуть не сшибив.

И вот уже агрессивно сжимал мне руку, сминая до хруста пальцы, тяжело дыша. Возникло предчувствие – как всегда при встрече с Севой – что следующее его движение – это удар коленом в грудак, и нужно быть начеку.

Я с силой обхватил его руку в ответ.

Он не отпускал. Я тоже на несколько мгновений, собрав остаток сил, напряг

все мышцы. Наконец, не выдержал и выдернул свою из его руки.

– Как ты?.. – спросил я тоскливо.

– Как в сказке. Как сам?

– Потихоньку, – сказал я. – Живот скрутило чё-то...

Сева махнул рукой, просунул ладонь за лямку портфеля и сказал с довольным видом:

– Все мы сгнием когда-нибудь в могиле и разложимся на органику. Но пока мы здесь, надо кое-кого... выжечь.

Раздвинулась хищная улыбка. Съехала набок нижняя челюсть.

Я вспомнил, как он сидел с тем же выражением на лице, свесив ноги, с балкона двадцать второго этажа, потому что решил шокировать всю нашу компанию. Я знал про езду по встречке, прыжки с высотных зданий с парашютом. Когда не стало денег на прыжки, Сева хотел работать выбивателем долгов. Вокруг него всегда было опасно. Но дело было не в этом.

Эскалатор заканчивался.

– Тебе куда? Мне... – я указал большим пальцем налево, в надежде, что ему направо.

Сева, не отвечая, пошёл рядом. Когда мы вплотную придвинулись друг к другу, заворачивая к выходу на перрон, он совсем притер меня к стене, подождал, когда начнут гроыхать вагоны, и сказал мне в ухо:

– Вчера выезд был.

Шум нарастал. Я скривился от стыда. Сева полез за пазуху:

– Вот, взял у одного п..дора...

Расстегнув черную кожаную куртку, которая была ему не по размеру велика, он вынул оттуда сидиплейер. Зачем-то разматывал скомканные проводки, повертел в руках плоский металлический блин, демонстрируя, как туземную безделушку.

– Сев! – сказал я, пытаюсь остановить его, упираясь руками, чтобы он спрятал.

– Это я ещё отмыл от крови. Тут кровь засохшая была. Вражья. Нужен тебе? Хошь, возьми...

– Ты понимаешь, как это называется? Ты... ты вообще как? – я постучал пальцем по виску, и, отдаляясь, быстро зашагал к электричке.

Поезд с вагонами, жёлтыми, теплыми, ждал меня. Двери почти закрылись.

В этот момент Сева, упиваясь собственной дикостью, успел впрыгнуть внутрь всем своим весом. Раздался какой-то троглодитский смех:

– Гы-гы-гы.

Я закрыл глаза, стараясь перетерпеть боль. Поезд качнулся на разгоне.

Он ухватился за поручень, и вдруг подался вперед, вблизи:

– Думаешь, это так легко дается? А? Конечно, можно п..здеть: ах, какая

бедная торговка, ой, хача замочили, как нам жалко. Ты либеральчик, а я не имею права об этом рассуждать!.. Ты рыцарь. Я – солдат. Они ответят.

Ему хотелось с кем-то поделиться, чтобы другие знали о его подвиге. Это, может быть, главная цель его жизни.

– Хватит, а?.. – выпалил я почти умоляюще. – У меня реально! болит! живот.

– Кто-то должен пачкаться и в говне, и в крови... – продолжал он, будто меня не слышал. – Бездомных кошек и собачек отправляют на живодерню. Никто не ноет, не протестует. Это фильтрация... Для начала почитай *литературу*...

Я прикрыл глаза. А он тараторил, куда-то поверх моей головы, перекрывая грохот несущегося состава.

У него появились капли густой слюны на губе, когда он выговаривал взрывные согласные. Темп речи ускорился, он посерьезнел. Сначала тихо, как бы прячась, швыряя чеканные формулы, потом – напрягая связки.

– Сев. Хватит.

Но он не слышал. По-мужски было бы просто не здороваться с ним. Но я каждый раз зачем-то жму руку. Фиаско воли.

– Очень может быть, что я кого-то вчера и убил, – почти во весь голос, без стеснения сказал Сева, упираясь взглядом мне в переносицу. – Работает бригада, идет бригада. Фронт. Ты мне сейчас скажешь...

Но я не расслышал, что я скажу. Диктор советским голосом, баритоном, приподнятым над повседневностью, объявил, что следующая станция «Спортивная».

Я снова поежился от невыносимой, прокалывающей, как толстая булавка, боли. Сева не замечал.

– Вон, смотри, – он снова проехался по лямке рюкзака большим пальцем.

Я устало сказал сквозь зубы:

– Что там опять?

– В соседнем вагоне сука чернож..ая. Да не бзди. Это по-другому делается.

За окошком ехал почти мальчик в спортивных штанах, напоминающий индуса. Видно, работал на «Лужниках» челноком. В руках – две плотно набитые клетчатые сумки.

Когда поезд остановился, пацан, сутуля спину от груза, медленно побрел мимо нас по перрону. Двери снова закрылись. В этот момент Сева врезал ногой по ним так, что стекла задрожали.

– Ты чё, ты чё... – я стал пугливо оглядываться, схватил его за руку.

Люди в вагоне не заметили или сделали вид, что не заметили. Подросток оглянулся. Мы удалялись. Поезд снова нырнул в тоннель. Пацан быстро исчез из виду, распался на фазы, на память об испуганном лице. В окнах мельтешила темнота. Сева стоял, повернув шею куда-то в сторону, изломанно выдвинулся вперед крупной головой. Я видел его больные, жилистые глаза,

бритоголовый череп с угловатыми скулами и залысинами, губы, выпяченные в заносчивом недовольстве. Он стоял в своих больших военных штанах, победительно скрестив руки. Он был похож на обиженного, хулиганистого ребенка.

Вдруг подтянул длинный рукав и потер пальцами циферблат офицерских часов.

– Сколько времени? – сказал я.

– Без четверти одиннадцать, – культурно отозвался Всеволод, теперь уже сын профессора. – Чё ты зеленый какой-то...

– Живот, живот болит...

Если бы вокруг никого не было, я бы заплакал.

На «Фрунзенской» в вагон забежали четверо подростков. Двое парней с одинаково мелированными волосами задержали двери, чтобы девчонки успели войти. Яркие рюкзаки со значками, ногти у светленькой накрашены черным. У симпатичной барышни с каре было слишком открытое лицо, слишком большие, миндалевидные глаза, даже жалко её стало. Она смеялась чему-то, склонив голову. Накрутила прядь на указательный палец, и на секунду, мельком оглянулась на себя в стекло вагона. Парень в наушниках-присосках пристукивал упругими ногами, слушая музыку.

Второй пацан с пирсингом рассказывал что-то, девчонки улыбались. Судя по обрывочным фразам, они прогуливали школу. Второй добавлял отдельные реплики, нутром погруженный в музыку, время от времени оттопыривал наушник. Их жизнь мчалась совершенно отдельно от моей и Севиной.

– Курсовую пишешь? – спросил я невпопад.

– Нет пока.

– О чём будешь? – я сглотнул неминуемую тошноту.

– Пушкин... – сказал Всеволод опять.

И я спросил о главном:

– Катю не видел?

Он помолчал.

– Сидели в «Кружке» позавчера...

Ну, и прекрасно. Пусть.

Нас затрясло при въезде на Парк Культуры. Рука соседнего дядьки описала дугу, он взмахнул курткой, ища равновесие. Я вскинулся тоже. Дернулись все, будто закрывались руками от единой, наполняющей вагоны воздушной, взрывной волны.

Меня подхватил арабского вида парень, стоявший у стены, но не грубо, просто полсекунды придержал за плечо. Я извинился.

Электричка выскочила на Парк, мраморную, светлую станцию. Многие выходили.

– Я – на Парке, – чуть не крикнул я.

– Я тоже, – заорал Сева.

Выйдя из вагона, я двинулся к лестнице. Сверху, оттуда, где продавали сэндвичи, доносился запах сарделек. Сейчас от него воротило. Я старался размеренно дышать, набирая в легкие воздуха. Сева широко шагал, почти как на марше, чудом не наступая на ноги идущим навстречу, по-прежнему скрестив руки. Но теперь молчал, будто и не было нашего разговора.

Я склонился, едва не падая. Ступеньки закончились слишком быстро.

Был ли рядом Сева, я не знал, но, перебегая на кольцевую, всё же услышал, как железные копыта заклацали мне вслед.

Кольцевая была, как обычно, запружена людьми. Побежал в угол от потока, перепрыгнув три ступени. Я уже ничего не слышал и не видел, только лихорадочно лапал карманы. К счастью, обнаружил там пакет из-под чипсов. Судорожно расправил его. Опять мучительно рвало.

В этот момент Сева отстал или затерялся в толпе. Либо намеренно, либо случайно упустил меня из виду. Пропал.

Я вытер обветренные губы, сел на корточки. Во рту был гадкий привкус таблетки. Кашель отдавал рикошетом в живот.

Не попрощались.

Поезд долго стоял и отчего-то гудел на высокой ноте комариным писком.

В вагоне теснились люди.

В двери вкатился на специальной дощечке инвалид в камуфляже. На лысой голове лежал потертый голубой берет.

Я не раз видел этого нищего. Когда поезд возьмет разгон, мужик покатит по вагону на своей каталке. Понятия не имею, как люди его всегда замечают и расступаются; впереди каждый раз оказывается свободное пространство. Если положишь деньги в пластмассовую коробочку между ног, он будет, ничего не говоря, низко кивать, как юродивый, униженно, преувеличенно изображая благодарность, сводя культи в умоляющем жесте.

Двери за ним столкнулись, как две льдины.

Края холодного маленького солнца размыты туманной поволокой. Метель обсыпала куртку сухой стружкой игольчатых снежинок.

Возле ящиков тусовались торговцы сигаретами, бижутерией, пучочками цветов. Смуглые бабки, сжимая в ладонях лимоны, как лимонки, выкрикивали: «Три по десять!». Там и сям бродили полураздетые аборигены, сидели на картонках, на корточках, будто утром вышли к себе на крыльцо.

На мгновение меня охватил весь абсурд вокзальной толчеи.

Какой-то господин в распахнутом пальто и съехавшем набок галстук, тоже ничего перед собой не видя, чуть не врезался в меня.

Он говорил по телефону, будто ополоумев, прикрывая ладонью трубку от ветра:

– Увольнай его на... Я не верю в это. Я в чудеса не верю.

Подвыпивший дядька с усилием, как ребенок, дергал ручку биотуалета. На синей пластмассовой двери колыхался листок: «Сеть гигиенических систем "Поклонная гора"». Женщина в свитере с катышками отсчитывала сдачу мужику в дорогом плаще, поставив колено на табурет, увидела, что пьяный пытается войти, игриво треснула ему по руке, и всё жепустила.

А я всё брел еле-еле, приволакивая ногу. Боль залезла в душу. Пересчитал мелочь.

У меня на туалет денег не осталось.

На автопилоте переложил поглубже последние гроши, чтоб ненароком не утянули. Вдруг неожиданный кавказец, руки в карманах, встал на пути: «Свежий розы надо?». Я усиленно помотал головой.

Ближе к стройке площади Европы, там, где находилась долгожданная остановка, толпа редела. Поднял голову. На башенных часах было пять минут двенадцатого.

Пристроился к небольшой очереди, стоявшей в ожидании автолайна.

Мужик-зазывала, болтавший рупором, наблюдал за мной, медленно покуривая, будто смотрит шоу. Я извивался, изгибался, оскаливался и кряхтел.

До дома по прямой – каких-то двадцать пять километров. Но маршрутки не летают по прямой. Стыли ноги, будто примерзали к подошвам.

Вдруг солнце, выглянув из-за плотной завесы тумана, озарило желтыми лучами пустынный проспект, воплотило тени людей, стоявших в очереди. Милиционер вышел из будки. Склонился, раскрывая паспорт, отбросил великанскую тень, срубил профилем огромный световой поток. Цыганки по-хозяйски прохаживались взад-вперед, ногами сбивая свисающие лиловые, бурые тряпки. Морозный воздух носил запах шаурмы.

Снова стало пасмурно.

Мужик-зазывала с заиндеветыми усами выпил банку энергетика и смял её, жестяную, легко, как тетрадный листок. Ему стало скучно.

Но тут я почувствовал, что за мной опять наблюдают. Оглянулся. И правда, увидел пожилую женщину в нелепой шапке, похожей на ночной колпак. Она смотрела на меня как будто осуждающе.

Сложила руки на поясе. Потом, копошась, достала из кошелька оторванную таблетку в бумажке, подошла ко мне и протянула.

– Возьми, – она не смотрела на меня, словно учительница, подсказывающая на экзамене. – Глотай. Поможет. Это ношпа.

Я с благодарностью кивнул. Повозился с таблеткой для виду, а потом незаметно бросил в карман.

Стрелка на башне медленно ползла. Очередь распалась на отдельные звенья озлобленных людей. Но на широком шоссе не было ни одного автобуса, даже обмануться нельзя. Только рядом какой-то никчемный туристический «Икарус» – на боку будто в насмешку зеленели нарисованные пальмы.

Женщина из очереди подошла снова.

– Выпил?

– Вы знаете...

– Проглоти, говорю, – она поджала строгие губы.

Я достал из кармана таблетку, превозмогая отвращение, разгрыз.

Мимо прошли два крепких мужика. Один размашисто жестикулировал:

– В бочину мне, б..янах... Я ему: ну чё ты! Он мне извиняется в стекло, а что мне твои извинения, с..ка, когда я чуть не в капот башкой упал? Бездумные ездют, кто им права дает, пособирал бы, в ж...у им запихал...

Другой внимал. Они пронзили толпу и исчезли.

Опять был только обступающий шум города и близкий шорох снежинок, с мелким треском стучавших о куртку.

Нагнулся вперед, руками уперся в колени. Всего лишь добавил свой образ в вокзальный цирк. Терпение не только иссякло, но и покрылось трещинами. Хочется выть.

Стрелка на башне дрогнула на полдвенадцатого.

– Нет, ну это *вообще*... – пожаловалась шуба обнимавшим её кожаным перчаткам.

Лицо обдувал свежий ветер, неся запах табачного дыма. Девушка в митенках зябко и безнадежно курила. Пепел случайно уцепился за мой рукав.

В эту секунду, подняв глаза, я заметил, что к нам приближается автолайн – разворачивается, оттопырив ухо бокового зеркала, будто гончая. Но радости не было. Только гнев: где тебя раньше носило!?

Растворились двери. Несмотря на брызги снега из-под колес, вперед ломанулись те, кто оказался ближе.

Запахло автобусной печью, пыльным двигателем, спертым дымом.

Контролерша в спортивной куртке сидела, как хозяйка, на высоком кресле, ожидая, пока все влезут. На пузе у неё лоснился захватанный пухлый кошелек со сломанной молнией, из которого выпирали купюры. Я протянул двадцать пять рэ, плюхнулся в кресло, держа наготове пакет из-под чипсов, на случай, если будет рвать.

И успел заснуть в полубреду, пока механическая дверь задвигалась внутрь.

На эту поляну летом приезжал луна-парк. Сейчас по нему носилась поземка, похожая на молочную пенку. Поле было открыто всем ветрам. Я чуть не полз.

Привалился к стене родного подъезда, не глядя набрал на домофоне «сто семнадцать» и «вызов». Долго.

Услышал приветливый папин голос:

– Алё-о?

– Свои, – возопил на последнем пределе.

Дверь запищала наивной песней робота. В подъезде было темно, из почтовых ящиков влажно пахло газетами. Потащился по лестнице. Вжал кнопку лифта, в голос стоная – теперь можно, никто не слышит. Грузовой приехал.

Я ввалился в кабину, с силой развязал обледенелый шнурок на ботинке, потом на другом. Крякал, карабкаясь вверх, старый лифт. Скользили по стенам тени.

Выпал из кабины. Дёрнул дверь – открыта. Увидел разношенные папины боты в коридоре. Значит, он здесь. Только теперь я понял: мне очень повезло, что я его застал, а то пришлось бы идти в школу – за ключами, к маме.

Содрал с себя куртку.

На перекладине у входа в кухню висела сохнувшая простыня. Папа, которого не было видно, клацал ложкой за нею.

– Федь, ты?

Я ринулся в большую комнату, придерживая рукой брюхо, и повалился на кровать.

– Дико живот болит. Боль просто адская.

Папа вышел из кухни, сел рядом, утер салфеткой усы.

– Дрысня есть? – с тревогой вглядывался он.

– Н-нет... – Теперь я мог вертеться и крутиться лежа. – Ношпы выпил. Потом ещё. Все это навыворот.

Вынул из кармана изодранную бумажку, катаясь по кровати, не зная, где бы приютиться:

– Врачиха чё-то там... посмотри...

Папа будто не заметил, положил мне руку на лоб, цокнул языком:

– Да у тебя температура.

– Может.

– Ну-ка, а пульс...

Он обхватил своей широкой ладонью мое тощее запястье. Сидел прямо, осанисто. Считал.

– Учащенный.

– И чё?..

– Язык покажи.

Папа шурился, как будто у меня в зеве было что-то жуткое, держа меня за подбородок.

Потом потрогал живот.

– Майку подтяни, – он бережно поддернул свитер и положил ладонь на пузо.
– Надо произвести пальпацию.

– Скальпацию? – пошутил я с натугой, перекосившись от боли. – Ну, давай...

Он начал медленно простукивать полусогнутым указательным слева, справа. По-особому положил одну руку на другую, нажимая, и всё всматривался в мое лицо.

– Расслабь. Больно?

– Везде больно. Снизу и под ребрами – невыносимо. И даже, знаешь, – я помолчал. – Резь какая-то... – и показал ниже.

Он надавил под пупком, всё сильнее хмурясь. Слегка утихло. Вдруг он убрал руки, и я чуть не взвыл от резкого наплыва боли.

– Б..ха-муха!

– Понятно. И ещё ногу подними. Правую.

Я поднял ногу, но тут же нетерпеливо вывернулся к стене, потом уперся лбом в обои с цветочками, снова бросился на лопатки, опять задрал свитер. Папа ещё раз мягко втопил руку в пузо, и быстро убрал её.

Я утирал слезы, будто от смеха.

Он оставил ладонь на животе:

– Так-с... – посидел. Выдохнул.

Осторожно перевернул меня на левый бок.

Я вернулся назад, боль прижала. И снова глядел на него, сдерживая злость.

– Вот... Вот щас, если не двигаться... – сказал я, подтягивая колени к животу, сам себя убеждая и пытаюсь понять, зачем эти манипуляции, похожие на пытку.

Папа вынул из соседнего дивана подушку и одеяло широкими движениями; быстрым упором руки вернул сиденье обратно.

Хорошо уткнуться в подушку жаркой головой. Впасть в апатию. Подушка прохладная. Белая, как кокос. Если замереть, если не тормозить, то усну, наверное.

Тут я почувствовал накатывающую волну тошноты.

– Щас вырвет, пап!..

Он выбежал на балкон, но не успел взять ведро. Меня вырвало на пол, но слабо, только слюной и желудочным соком. И опять болело, от усилий, от кашля.

Отец запоздало появился из-за занавесей белья с ведром и тряпкой в руках. Носки легли ему на плечи, как котята у дрессировщика.

Поставил ведро рядом с кроватью, вытер пол. Меня сковал озноб, все поджилки дрожали.

– Укройся, Федь.

Он был встревожен. Накрыл мне одеялом ноги. И вдруг добавил:

– Знаешь, наверно, надо в больницу...

Я помолчал удрученно. Разве не понятно, что я нетранспортабелен? Неужели не ясно, что надо просто отлежаться, что нужен покой?

Папа куда-то исчез.

Я прошипел в пустоту:

– Ну и куда я поеду?

Через минуту он сдержанно-торопливо вернулся с чаем. Ромашковый. Не очень горячий. В другой руке был градусник, папа элегантно стряхнул его парой эффектных взмахов, тяжелой, крепкой рукой. Может, так его учили когда-то...

Я глотал теплую воду, приподнявшись на локтях, а он придерживал чашку за донышко. Хорошо упасть на кровать без сил... Хорошо, когда есть кому помочь. Классно поболеть, когда б не боль.

– Свитер надо снять, льётся на твой новый белый свитер, – терпеливо сказал папа.

Я закивал, отставил чашку на прыгучую поверхность дивана. Снова протянул ему рецепт.

Он наконец изучил листок, и вернул его без эмоций.

– Что скажете, доктор? – я всмотрелся в него, но папа отвел глаза.

– Ну, Федь... Острый живот, – сказал он. – В чем причина, пока неясно.

– Острый живот? – я глянул на него с недоверием.

– Это говорят, когда не знают, от чего лечить, – он грустно улыбнулся. – Надо понаблюдать.

Я заметил, что он уже в брюках, но ещё в майке. Видно, собирался уйти до моего появления. И, разумеется, опаздывал.

– Уезжаешь? – я постарался сказать это независимым тоном.

– Я должен...

– Понятно, – я с силой запихнул градусник под мышку, рискуя его разбить.

Папа раскрыл наш с Саней шкаф, достал оттуда мою самую уродливую растянутую футболку, с треугольным, матросским горловым вырезом, грубыми швами, всегда натиравшими шею, и протянул мне.

Я повернул градусник к оконному свету. И даже обрадовался: подтверждается, что я не симулянт.

– Тридцать семь и пять...

Папа опять удрученно цокнул языком.

Я рывком стянул свитер с электрическим треском. Переоделся. А он все меня изучал.

– Может, льдышку какую на пузо? – спросил я.

– Не надо, Федь. Отдыхай... Будет совсем плохо, надо скорую

вызывать. Тут грозное может быть...

– Ой, ну ладно уж...

Лучше прикинуться спящим. У него сегодня до вечера пациенты. А у меня – «острый живот». Сказать кому – засмеют.

Чуть погода папа тихонько поднялся и вышел.

Я глубоко сопел, типа сплю. Он, очевидно, поверил.

Не буду его мучить. Он ведь тоже не может меня обихаживать.

Папа осторожно переступал по полу сандалиями, звякнул железками висевших на шкафу подтяжек и ремней. Надел плащ, прошёл в коридор, с медленным, и оттого ещё более страшным скрипом открыл дверь коридорного шкафа. Звякнули тяжелой связкой ключи, свалившись с кривого гвоздя.

В последний раз заглянул ко мне. Я старался расслабить рожу. Теперь он был в дальнем коридоре, за дверью. Я слышал, как он обувает ботинки, потом глухие шаги и щелчок последнего замка.

Наступила тишина. Я упрятал ноги под одеяло. Вот, оказывается, как тихо бывает дома, когда никого нет. Но боль внедрялась в дремоту, как дрель, заставляла лежать то на спине, то на боку.

Дальними раскатами грома стучала стройка за окном, забивали сваю.

А вблизи мелко, неумно бились друг об дружку зубы. Жарко. Холодно.

В чашке немного остывшего чая. Я отхлебнул, вернулся на правый бок, мордой постучал в диван. Как будто волки глодали, выгрызали нутро.

Засыпаю, что ли? На балконе пластиковая бутылка хрустнула в тишине, расправившись от мороза. Музыка для никого.

Терпеть, не зная, сколько это продлится... Уж лучше спать.

Раздался вдруг близкий удар. Тупо треснулась о дверной косяк одинокая балконная дверь, прогремев стеклом, и опять открылась с протяжным скрипом от сквозняка.

Лежал, подтянув ноги к коленям.

В самом деле, спал – но прерывисто, остервенело.

Вдруг понял, что в дверь давно звонят – в квартире умолкало эхо. И повисли в воздухе новые рассерженные звонки.

Поднялся, но повалился опять, узнав, что это мама. Она открыла сама и вошла, шурша продуктовыми пакетами, внося иную скорость жизни, все заботы разом.

Голосом, уже заранее поднятым на должную громкость после семи уроков в школе, сказала четкой скороговоркой:

– Маш, сразу прячь свои чешки! – и тут же прошла на кухню, лихо сбросив

пакеты на табуретку. – А Сашка где, ты не знаешь?

– Он в институт, сказал, поедет, – крикнула Маша.

Мама осмотрелась.

– В три ко мне придут ученики, ни поесть сесть негде, ничего. Насвинячили и ушли... Чудесно.

– Ма-ам! – позвал я негромко.

– Федь, ты здесь, что ли? – она оглянулась.

– Ага, – хрипло сказал я.

Маруся вбежала в комнату, устало, совсем как мама, вздохнула. Она поставила на пол увесистый портфель, крепкий, будто панцирь, швырнула под кровать пакет со сменкой, и быстро высвободилась из зеленого школьного пиджака.

– Привет, – бросила мне сестра, вконец запыхавшись. Щеки покраснелись с мороза.

На кухне шумела вода, клацали тарелки. Мама нервно мыла посуду.

Потом вошла в комнату.

Я лежал, отвернувшись к стене.

– Живот очень болит, – сказал я. – Тошнит. И температура. Хотя сейчас, кажись, полегче...

Торопливо, без прошлой обиды, мама потрогала мне голову тыльной стороной ладони, рука была вся в капельках воды. И вдруг застыла.

– Федька... Да у тебя высоченная... Ты что сегодня, не ездил?..

– Да ездил, вернулся...

Она помнила о скандале. И все же поправила мне одеяло. Потом пошла на балкон, сжала рукой одну из штанин на веревке, проверяя, высохла или нет. Схватила большую кастрюлю, и потащила на кухню:

– Ты бы простыню постелил, лег, как человек. Щас градусник тебе дам, померяешь.

Она отпихнула ногой Машин тапок. В комнату опять вбежала сестра, столкнулась с мамой в дверях.

– Полегче! – сказала мама. – Хватит носиться, ешь, начинай уроки делать.

Маша подошла к столу, завела за ухо выбившуюся прядь. Подвернув ногу, листала журнал, подперла подбородок рукой. Потом опять куда-то сбежала, пихнула стул с висящей на нем одеждой, тот рухнул.

– Маш, дай ты ему поспать, – отозвалась мама с кухни. И тут же крикнула. – Федь, ты есть будешь?

– Нет. Чаю разве что.

Крепко запахло разогретым борщом. Градусник холодил подмышку. День за окном незаметно становился синего цвета, будто глубоко промерзший лед.

Раздался новый мамин крик:

– Маруся, иди есть!

Маша только вздохнула, но не пошла.

– Маша! – послышался напряженный возглас мамы. – Ты идёшь или нет?

– Да я не буду.

– Ты что, издеваешься? Для кого я грела, спроси!?

Наконец, сестра поплелась на кухню.

Мама первым делом проверила, в тапках ли Маша. Та положила ноги на деревянную перекладину под столом, как будто они парят в невесомости. Засмеялась, пойманная с поличным.

– Бессовестная! – громко, но почти дружелюбно сказала мама. – Сколько раз тебе говорила: не смей без тапок ходить, негодница!

Вдруг мама ахнула от неожиданности.

– Чё, мам? – Маша бросила ложку.

– Рулет мы с тобой купили в «Вонючке» – ты видишь?

Мама развернула мясной рулет из магазина, зайдя в который, покупатель всегда ощущает специфический погребной запах.

– Плохой, что ли?

– Ну, конечно. Вот скоты! Я с ними, помнишь, только три дня назад ругалась. При тебе было?

Зашумел чайник. Мама быстрыми шагами вернулась ко мне:

– Давай градусник.

– Ладно, я сам посмотрю, – упёрся я, услышав знакомые жесткие нотки в её голосе.

– Ну, дай градусник.

– Мам! – я вдруг решил сломить эту стену. – Ты меня прости, я не хотел тебя оскорбить... вчера...

– Да ладно, – сказала она устало. – Ты меня обижаешь просто так, ради вы..бона своего, а я переживаю.

Я усмехнулся, как мог. В этом уже была слышна возможность примирения. Но до конца не простила.

– Чё там? Рулет? – спросил я, чтобы начать нормальный разговор.

– Да вот, просроченный этот самый... – мама помедлила, внимательно щурясь из-под очков, разглядывая градусник против света. В этот момент она вдруг стала похожа на бабушку Лялю. – Федька-а... Тридцать семь и шесть, – наклонившись, она снова провела рукой по моему жаркому лбу и вискам. – Давай папке звонить...

– Он меня смотрел.

– Ну, и что?

– Говорит, «надо понаблюдать».

– Так можно наблюдать до ус..ру!.. Как всегда, бороду почесал и

уехал!.. Ты сам-то как себя чувствуешь?

– Траванулся явно.

– Чем ты мог?.. Щас чаю горячего, – мама встала с постели, снова качнув меня на пружинах дивана. – И угля активированного обязательно.

Она вернулась на кухню, стала торопливо есть борщ. Вдруг раздался звонок домофона: раскололось и звякнуло.

– Блин! – сказала мама. – Это Костя Мурин ко мне идет. Маш, открой!

Чайник на кухне вскипел и щелкнул, умерил свой пыл. В маминной комнате загремел кувшинчик из-под карандашей, в который она быстро складывала ручки, разложенные Машей, приводила стол в порядок.

Через секунду мама опять была здесь, принесла мне крепкого чаю с сахаром. Аккуратно приземлила его, держа за блюдце, придвинув к кровати табурет, и убежала встречать ученика и его маманю, превратившись уже в Ирину Михайловну.

– Спасибо тебе, – сказал я ей вдогонку.

– Пей, – бросила она. – И майку переодень.

Я вытянул губы к краю чашки, хотя меня тошнило от одной мысли о питье. Чуть не обжегся.

В коридоре послышался дребезжащий, тонкий голос третьеклассника Кости:

– Мамочка, не бросай меня здесь! Мамочка!

Это был своеобразный ученик. Ирина Михайловна, как всегда, за полцены занималась с ним английским: все равно половину урока его надо умирять, и он ведь «ребенок-то несчастный». Теперь мама беседовала с родительницей Кости о текущих двойках.

– Воспитывай сыночка большой-большой дубиной, и будет у сыночка характер голубиный, – сказала она вроде бы ученику, а на самом деле родительнице. – Вы в курсе, что в четверти ему хотят двойку вклеить?..

Я уже знал, что матери пацана это не особенно интересно, поскольку у неё начались новые романтические отношения. Ещё я знал, что она детский психолог. В прошлый раз, начиная рассказывать о Косте, она говорила: «У нас тут такой инцест случился...», – очевидно, перепутала с «инцидентом».

– Достали! – снова заверещал Костя, как будто вырываясь из пут. Но всё-таки вошел в комнату.

Я закрыл глаза.

– Где твоя домашка? – спросила Ирина Михайловна.

Слышно было, как Костя демонстративно вывалил из кувшинчика ручки, карандаши и ножницы с заполошным, зловещим смехом.

– Костя! – сказала мать. – Владу скажу сегодня!

Я угадывал сквозь стекло расплывающийся контур: мать погрозила сыну пальцем, и снова принялась читать журнал.

Но Костя уже вскочил со своего места, рванул на кухню. Не хватало, чтобы он ко мне в комнату проник, как обычно, маленький, с надменным взглядом, неумытый.

– Мне макароны можно? – спросил он уже из кухни.

– Они холодные. Разогреть тебе? – строго, но с готовностью спросила Ирина Михайловна, от чего я впал в ярость.

– Я и так съем.

Вскоре Костя уже звенел вилкой о тарелку.

– А кетчуп есть? – уточнил он.

Как Ирина Михайловна может это терпеть... Я – не могу. Неужели не понимает, что его мать просто переваливает на неё ответственность?..

Больно-то как, мамочки.

Кажется, сытого Мурина усадили за стол. Из магнитофона полилась песенка: “I can sing a rainbow...”

Я, протянув руку, мучительно закрыл дверь.

13

В обступающей синеве поблескивала нетронутая чашка остывшего чая.

Хмурое небо темнеет быстрее, как быстрее стареет ипохондрик. Это хорошо. Надо записать...

Нет сил тянуться за листком.

Почему боль не уходит?.. почему не легчает?..

Мои думы прервал громкий звук пинаемой двери. Раздался удар, да такой, что она чуть не выгнулась.

Вначале я подумал, что сюда опять ломится Мурин, но оглядевшись, понял, что с тех пор, как он свалил, а я уснул, прошло часа три.

Вторая мысль: мама заметила в коридоре летние ботинки, которые я до сих пор не убрал на балкон, и сейчас шваркнет ими в меня. Потом скажет презрительное: «Помоешь!» Так начинаются ссоры.

В конце концов пришелец с оттяжкой нажал на ручку до предела, чтобы открыть дверь по-человечески. В комнате появился Саня.

Заметив его, я решил не оборачиваться. Мама издали спросила:

– Кушать будешь?

Но Саня, пройдя мимо, односложно, как робот, на ходу ответил «нет», и прошумел рюкзаком мимо меня. На коротко стриженной голове мерцал недотаявший снег. Значит, опять без шапки. А главное, сейчас снова попрется на улицу в своей осенней куртке. Чтобы все придатки застудить, или что там...

Саня без особых церемоний включил свет. Подошел к полке, и стал копаться в бумагах. Воркуя, вниз обрушились книжки. Жёлтый учебник английского

треснул мне по ногам, укутанным одеялом. Я с негодованием приподнялся на локтях.

Саня меня как бы не заметил, попрыскался стоявшим на полке дезодорантом, оставил после себя сильный прохладный металлический запах, будто под носом протрепетала фольга. Будь я здоров, наверное, шел бы по аллее к метро, отсидев последнюю пару. И, может быть, вдруг, всё ведь бывает – с Катей.

Все лучше, чем терпеть это издевательство.

А брат, хлопнув дверью, устремился в кабинет, где сидела Маша. Раздался его глухой и сердитый голос:

– Не надо рыться в моём столе, я тебе говорил.

– Я хотела взять чистую тетрадку для анкеты.

– Мне послать! – рявкнул Саня. – Ещё раз увижу, что диски не на месте, все твои анкеты полетят с четырнадцатого этажа. Ты меня поняла?

Покатилась по полу жестяная коробка из-под конфет, послышался беспорядочный топот, треск, звон, Маша обиженно заныла: «Ну-у!!», потом упала, крикнула:

– Козёл!

Из соседней комнаты выскочила мама, властно открыла дверь и закрыла её за собой, заговорила быстро, гневно, театральным, твердым шепотом. Даже ко мне, через всю квартиру, долетело:

– У тебя хоть грамм совести есть? Ты что к ней лезешь? У меня взрослая ученица сидит. Совсем одурели от безделья!

– Он меня прямо кулаком в сердце! – всхлипывала Маша.

Дверь в мамину комнату нельзя было закрывать, так как пришла девочка, которая очень редко моется.

– Дальше... – проговорила мама, когда вернулась к ученице. – «Я боялся, что заблужусь в лесу», – диктовала она сдержанным тоном, пытаясь успокоиться. – Переводи... По таблице, вот в Голицынском у тебя таблица...

Но вдруг раздался шум нового боя.

Саня вышел из кабинета. Маша побежала в ванную. Потом впрыгнула ко мне, свалилась на одеяло, зарывшись в него с головой.

– Меня Саша подушкой... по голове ударил, – и заплакала опять, горько себя жалея. – Теперь я все вижу в черно-белом цвете. Расплывчато...

А в комнате мурлыкал Санин мобильник. Резко, с грохотом переступая, он влетел сюда.

– Ладно, – пробурчал он под нос в трубу. – Через полчаса возле магазина «Лилит»...

– Чё ногами стучишь, как слон? – праведно раздражился я. – И к Маше не лезь. Совсем безумный!

Он не ответил. Снова сжало живот, я скорчился. Не хочу бравировать

перед ним своей болью.

Саня с отсутствующим видом опустился на стул, потом придвинул себя вместе с табуреткой, продрал паркет деревянными ножками.

– Не корябай пол! – не сдержался я.

– Пошёл ты на х.. – сказал он, будто бросил карту, которую нечем крыть. И бережно зашуршал газеткой.

Затем степенно встал из-за стола, сбросил легким движением локтя кипу листков бумаги, мои мятые тетрадки, всунутые в них рваные карточки метро с моими записями. Все это просыпалось на пол.

– Опять борзеешь?

– Мне *этого* здесь не надо, – сказал Саня безразлично. – Ты обещал *это* убрать две недели назад. Я тебя предупреждал...

– Верни на место, идиотик! – взвизгнул я.

– На моём столе *этого* не будет.

Он перелег на диван. Устроился поудобнее, подвигаясь к подушке, включил металлическую настольную лампу, ядреную, многоваттную, которую мама называла «пыточной». Опять развернул газету, широкую, в мелких опилках на просвет, с черно-белой фотографией футболистов, падавших друг на друга в экстазе после забитого гола.

Лампа орала в лицо яростным светом, как прожектор на стадионе. Саня – как мне казалось – специально – развернул свой фонарь так, чтобы она лупила в глаза врагу, то есть мне.

Я до трясучки захотел его ударить, навалившись из-за газеты, и съездить лампой по башке. Дальше я знал, что будет: красные лица обоих, набухшие жилы на шее, взаимное пересиливание, напряжение, удары, заломы, потом прибегает мама, лупит и разнимает нас, покачивается телевизор, рушатся стулья – а в той комнате ученики, позорище. Потом невероятная усталость в мускулах после драки, и ещё полчаса, находясь в одной комнате, если он пройдет, а я мимо, то сцепимся, будем пытаться отпихнуть друг друга от выхода, чтобы пройти первому.

– Сань, выруби лампочку. Достало! – сдерживаясь, сказал я. И картинно, для наглядности, прижал руку к животу.

– Ничего, прос..ешься, – сказал он, всё-таки обнаружив, что я рисуюсь перед ним.

Душила злоба. Я встал и побрел в туалет. Пройдя, замахнулся. Саня чуть дрогнул газетой в готовности обороняться.

Я выглянул из-за стены в мамину комнату, схватил вытянутой рукой кантик двери, притянул её, оставаясь за поворотом, и таким образом прикрыл дверь, чтобы меня не было видно ученикам. Но мама заметила и сказала:

– Не закрывай, пожалуйста, нам очень-очень душно.

В этот момент я перепрыгнул за пределы видимости, и пока дверь возвращалась обратно под собственным весом, из последних сил перебежал сквозь просматриваемое пространство.

Скрылся в туалет. Поноса нету.

Собрался с силами, встал. Слил воду и вышел. Ковыляя, зашел на кухню, включил свет.

Глотнул из чайника воды.

В окне мерцал отблеск лампы с цветочками. Сквозь него виднелись запотевшие балконные стекла. Через белесую пелену просвечивали рыжие огоньки соседних домов.

С утра ничего не ел. И не хочу. Штормит. Вернулся в комнату, нырнул под одеяло.

– Побыстрее бы ты скопытился, места бы больше было, – молвил Саня.

Добрый мальчик.

Опять занервничал домофон: к маме пришла очередная ученица. Мама провожала предыдущую в дальнем коридоре, не слышала. Домофон продолжал улюлюкать.

Саня и не думал открывать. Мама наконец подбежала, с хрустом вмяла несколько раз кнопку, потом заглянула к нам с суровым видом:

– Лежите, ж...ы греете, никто открыть не может?

Саня на своей кровати безмятежно листал «Спорт-экспресс», будто всё это относилось не к нему.

Будь у нас перемирие, я бы пошутил: «Опять "Сэкс"?».

Но сейчас моя ярость обгоняла температуру.

На левом боку особенно больно, а повернешься на правый – терпимо, но в глаза бьет Санин ночник. Мурашки бегают от ног к затылку. Коленки трясутся. Надо достать ещё одеяло. Но у меня под диваном может и не быть... Неужели придется просить, чтобы Саня встал?

Я воскликнул в пустоту, но с вызовом:

– Сколько время?

Саня не ответил. Я, отвернувшись, будто этого и ждал. Разъярить бы его. Это значило бы, что я чего-то стою, что мое мнение принимается в расчет. Наверное, он думает о том же.

Что ж, его право. Буду мерзнуть.

Зашла Маша, принесла тетрадку с новыми наклейками. Улеглась на диван, сбросив обретенные тапки. Погладила меня по голове.

– Замечательно, замечательно... – сказал я про картинки. – А как с уроками-то дела, мать?

Вынул градусник. Тридцать семь и семь. Сестра узурпировала одеяло, отпихнула меня холодными ногами. Она демонстративно не обращала

внимания на Саню. А со мной была подчеркнуто дружелюбна. Я знал, что точно так же потом она заключит договор с ним, а меня будет называть «старым дедом».

– Марусь, сколько времени?

– Не знаю.

– Часы у нас на кухне висят, в курсе?

Маша в ответ только вынула заготовленные заранее учебник и листочек в клеточку.

– Вот смотри. Холмогорский гусь весит на два кг меньше тульского...

– Во-первых, надо сесть по-людски, а не как горбун, – сердито сказал я. – Это у нас будет тульский...

И я уже начал погружаться в задачу, пытаться решать за неё, но понял, что здесь ловушка. Сейчас я буду, как ишак, делать её д/з, а она – лепить наклейки. Потом, чего доброго, пойму, что я уже и забыл, как правильно делить в столбик. А главное – просто не смогу сосредоточиться от боли, с которой надо постоянно бороться, а это ещё больше злит.

– Не, Марусь! – коварно ослабил я. – Давай-ка сама. Потом покажешь результат...

– Феедь... – жалостливо сказала Маша, осознав, что её раскусили.

Опять замурлыкал Санин мобильник. Он встал, распылил на себя лошадиную дозу духов из флакона, на этот раз в виде футбольного мяча – и смылся.

Последние недели исчезает неизвестно куда, тусит неизвестно с кем. Как говорит бабушка Ляля: «Сашка уж забыл, где ворота института находятся».

А я что ему скажу? Я для него не авторитет, не сторож...

Улегся поудобнее, поморщившись от боли, но и с облегчением, потому что Саня свалил.

Меня распирало сознание правоты Старшего, вкупе с подступающей постыдной болью. Маша ушла в другую комнату клеить наклейки.

Саня грохнул дальней дверью так, что ближняя заколыхалась, будто от ударной волны.

Я хотел присесть на кровати, но на живот поднаперла болевая лавина.

Можно было спутать вечер с ночью. Правда, мама в своей комнате разговаривала с ученицами, гремел неожиданный общий смех.

Вдруг послышался знакомый звон связки ключей.

Я узнал папины движения, скрип паркета под его стопой.

Он вернулся.

Осталось немножко потерпеть, когда он придет в себя, и пожаловаться ему.

Из кабинета тут же радостно выскочила Маша.

– Привет, пап!

– Привет, хорошка.

– А что ты принёс?

– Бананов, яблок, бери. Винограду.

– И всё? – разочарованно сказала дочь.

– Себя принес, – улыбнулся он.

Папина фигура неясно виднелась за слюдой дверного стекла. Расщелкнул замки портфеля, протянул Маше пакет с бананами, держа его на вытянутых пальцах, будто демонстрировал всем, какой тот тяжелый.

– Борща дам? – мама подала голос из комнаты. – Делайте пока task two, я проверю, – крикнула она ученицам, спеша на кухню.

Что-то шкворчало и шипело.

– Андрей, иди, – негромко, но четко сказала мама. – Всё на столе. Сосиски в холодильнике, хочешь, вари, макароны на сковороде.

И остановилась.

– У Федьки живот болит.

– До сих пор?

Папа замолчал.

– Наверно надо скорую вызывать, это же не дело, – сказала мама.

– Сейчас будем думать, – пробормотал папа. Он сел, устало придвинув лавку к столу.

За окном из-за нападавшего снега было почти светло. На этом фоне в массивном приземистом горшке чернели щупальцы растения «Щучий хвост», за которым ухаживал Саня. Каждый день он поливает и протирает длинные зеленые кожанные листки, регулярно пшикает на них водой из пульверизатора...

– Так, – сказала мама ученицам, возвращаясь. – Всё сделали, сидите болтаете?..

А Маша всё слонялась из угла в угол.

Забрела на кухню.

– Федя спит? – спросил у неё папа, ломая хлеб.

– Не знаю... А математику сделаем?

– Ты уже пыталась?

– Ну, вот смотри, пап. Холмогорский гусь на два килограмма больше, чем тульский гусь. Тульских гусей...

Маша решила его припахать, понимая, что уже через минуту он будет в сердцах доказывать ей нечто для него очевидное, а для неё невнятное, но в результате все-таки за неё решит.

– Марусечка, а где твой черновичок?

– Па-ап...

- Где условие, нормально записанное?
- Пааап...
- Пробуй, решай. Смелее. Я сейчас вернусь.

Папа едва слышно приоткрыл дверь: вдруг я сплю? Скрипнула пружина в замке.

Я, конечно, не спал. Половица внушительно затрещала. Потом раздался следующий широкий шаг.

- Привет, – сказал я в полутьме.
- Он присел на кровать:
- Ну как живот?
- Острый, – через силу пошутил я.

Папа снова был в майке и брюках. Но теперь от него пахло Москвой, бензином, улицей и морозом.

- А в общем-то нормалек...
- Дрысни... нет?
- Да нет же! – смутился я.
- А температура?
- Под тридцать восемь.

– Закрой глаза. Что там у тебя? – он решил применить психотерапию, навис над пузом руками.

- Ой, пап... – беспокойно заерзал я.
- Что по ощущениям – жидкость, масса, что?
- Трудно сказать. Масса... Металлическая, свинцовая.
- Вдруг раздался мамин крик:
- Андрей, подойди сюда!
- Что ж там такое-то, а? Я с Федей занимаюсь.
- Ты мне нужен срочно, – настояла мама.

Папа ещё подержал руку на животе, потом хлопнул в ладоши. Приподнялся.

- Погружайся... Глубже в покой...
- Подсоедини нам провода на видике, а? – попросила мама.

Из телевизора донеслись тревожные позывные новостей. Папа переключил. Зазвучала мелодия детского урока. Вскоре он вернулся сюда, уже в домашней, широкой футболке, и снова сел на край кровати.

- Да ты свет вруби... – грустно сказал я.

Он щелкнул выключателем. За окном сразу потемнело.

Положил мне ладонь на голову, зачесал двумя взмахами чёлку назад, потому что недавно меня подстриг, и опять скрыто переживал.

- Возможно, придется нам съездить с тобой...
- Куда?.. Зачем?..
- В больницу.

– Да ведь поздно уж, пап... В нашу Больницу, что ли?

– У меня там знакомый, Михаил Евгеньевич...

Маша внеслась в комнату, увидев свет. Резко сиганула на диван.

– Маш! Ты чё? У меня градусник, блин!

Она перестала плясать, поцеловала меня в макушку, и обратилась к отцу:

– А вот, пап, ещё задача. Карп весит три килограмма...

...Возле моих глаз папа крепкой рукой аккуратно скрипел тонким карандашиком по бумаге: « X – полтуловища. Туловище: $X + 1 = 4$ кг. Хвост = 1 кг. $X = 3$ кг – голова».

– Вот и подумай, – сказал он, передавая листок. – Что ж ты лепишься, Марусечка? В каждой клеточке должно быть по одному значку!

– Ты пока дневник подпиши, – Маша дала очередное указание, а сама уселась за стол.

Он поставил свою витиеватую мягкую подпись в дневнике. По коридору зашагал в кабинет:

– Портфельчик свой убирать надо, Харабунечка. Попользовалась – убери. Карандашики в пенальчик прятать... портфельчик на место... Щас, Федь... – сказал он в надежде перевести дух.

– Ути-пусеньки, – сказал я едко, видя, что Маша опять манипулирует родителем.

На моих губах линияла улыбка. Я боялся пошевелиться: вдруг накатит боль. Хотелось обмануться, что она проходит. Но я обманывался уже много часов. А она не проходила.

Рослый парень, похожий на баскетболиста, долго сидевший у мамы, засобиравшись, и, наконец, ушёл. Когда она закрывала, зазвонил домофон.

Хлопнула дверь. Пришел новый.

15

Отпустив последнего, самого позднего из сегодняшних pupils, она вошла в комнату и просто стояла, о чем-то грустно, опустошенно думала.

– Меня знобит... – сказал я.

– А ты халат надень, – будто опомнившись, мама энергично открыла шкаф. – У тебя же халат висит, забыл?

Она раздвинула вешалки и обнаружила в чреве шкафа махровое одеяние, бежево-коричневое в полоску.

– Вот же он!..

– Ладно, – сказал я уклончиво.

– Ну что «ладно» – оденься.

– Вынь его, пожалуйста.

Мама раскрыла шкаф нараспашку и выволокла на свет нечто длиннополое. Спустив ноги с кровати, я освободил халат от вешалки. Мне подарили его на прошлый Новый год. Ни разу не надел. Все как-то нет повода...

Обернул его вокруг себя, втиснул руки в рукава.

– Милое дело! – подбодрила мама. И вдруг замерла. – Что, тошнит?

– Да как тебе сказать...

– Ну и нечего резину тянуть, надо ехать!

Я упал на постель, завернулся в халат, как в ковер. Правда, невозможно жить с такой болью.

Но ведь ученики ушли. Могу бродить по квартире в неподобающем виде.

Поднялся, не в силах выносить постоянную тревожную дрожь. Заглянул на кухню. Почти пол-одиннадцатого. Ну и денек.

Саня в кабинете смотрел футбол. Мама взвинченно шептала папе:

– Андрей, ну что ты молчишь? А вдруг у него язва? Это может плохо кончиться. Босиком не ходи, – она обернулась ко мне.

Папа держал телефонную трубку, пытаюсь найти в записной книжке нужный номер, под крики итальянских тиффози, которые доносились из телика. Я как бы случайно, с поддевкой перегородил Сане экран развесистым халатом.

– Отвали! – живо откликнулся брат.

– Ты чё орешь? – обернулась мама удивленно.

– Скажи Феде, чтоб убрал свой зад.

– Хватит придуриваться!

– Мам, ну отойдите, достали, – сказал Саня угрюмо.

– Ишь, он будет огрызаться... Я тебя быстро в чувство приведу! – продолжала мама, но уже без ярости. – Пойдем, я пока полис поищу, – тихо добавила она мне, чтобы в самом деле не мешать.

В коридоре, в папином портфеле, назойливо и одиноко пищал сотовый.

Маша принесла сумку, схватив её за шкуру с замком. Папа вынул мобилу, тут же убежал на кухню, вежливо ответил:

– Да-да?

Из шкафа пахло маминой пудрой. Мама достала старый ящичек, с отваливающейся крышкой, из красного дерева. Искала полис. Я расстегнул черную папку и стал листать, чтоб хоть как-то помочь.

– Ну вот куда затырили? – мама перебирала бумажки. – Нет, это Сашкин... Вот твой. Держи. Паспорт – у тебя...

– Ага, – сказал я, и вошел в полутёмную мамину комнату. На диване сидела Маша, подобрав ноги на диван, и смотрела мультики.

– Привет, – откликнулась она, и, чуть ссутулившись, сунула в рот виноградинку из лоханки.

Папа на кухне продолжал убеждать кого-то:

– Если он не хочет менять свой образ жизни, и желает продолжать исследовать химические вещества, вы вправе предъявлять к нему требования. К тому же, он ведь буянит систематически...

На том конце провода рыдали. Папа продолжал со скрытым нетерпением:

– Понимаете, он должен понять, что бывает дерьмо собачье, бывает овечье, бывает коровье. Но необязательно съесть их все, чтобы оценить, что разницы-то особо нет, – папа хмыкнул, понял, что его занесло. – Приходите вместе, будем работать.

Я догадался: это звонила мать алкоголика, которая покупает сыну водку: он бывший наркоман, в депрессии, и она жаждет его «подлечить». На прошлой неделе она купила ему силиконовую бабу. Тот, бунтуя, выбросил резиновую тётку из окна на проспект. Потом выбежал на улицу, чтобы спасти свою куклу, но её уже украли. Теперь мужик в страшном многодневном запое.

Я ждал отца, запахнув халат. Из большой комнаты несло зимним холодом – мама открыла проветрить.

Наконец, папа повесил трубку, и секунду стоял в нерешительности, куда пойти. Одним движением руки развалил записную книжку на нужной странице, и тонким карандашом опять туда что-то вписывал.

– Ну ты звонить будешь, или как? – крикнула мама.

– Ирок... – утомленно ответил папа, и больше ничего не сказал.

Стадионный шум выплескивался из телелампы, шипел, как шампанское в пенной чаше. Мама опять загородила Сане изумрудные газоны.

Брат сказал с отвращением:

– Чё, трудно отойти, что ль?

Папа ещё раз сверился с книжкой, держа палец на нужной странице. Набрав номер, присел, в волнении тронул бумаги на столе.

– Добрый вечер. Будьте добры Михал Евгеньевича?... Это его коллега, – папа подождал, потом снова заговорил, глубоко вздохнув. – Вы извините за поздний звонок, я... врач-психотерапевт... Может, помните, оставлял вам визитку...

Мама закрыла за собой дверь, поманив меня. Мы искали одежду попрличней. Наконец на нижней полке обнаружился шерстяной свитер, белый с чёрным, в русских народных узорах, с мифическими лошадьми.

– Да в общем-то можем, можем сами... В приемное, там, на территории?... – приглушенно говорил папа.

Мама ногой задвинула ящик с носками.

– Я водолазку надену, и харэ... а свитер не буду, – загодя заупрямился я.

– Ты что, офонарел? – привычно откликнулась мама. – Там мороз на улице минус десять. Надевай немедленно. Так, – она осмотрелась, припоминая. – Паспорт есть, полис дала... Штаны другие надень, а то эти совсем затрапезные. Уши помой.

– У меня чистые уши!

Я схватился за дверцу шкафа. Шибануть бы со всей силы, захлопнуть. У меня живот болит зверски, а тут – уши.

Папа вдруг почти выбежал в коридор:

– Федь, я вниз, машину пойду прогревать.

Я заторопился.

– Майку! Майку поменяй, – мама дернула меня за майку. – В этой ехать – стыдоба! И лицо умой, чтобы быть культурным чистым мальчиком, – добавила она весело, как ученику.

Я стиснул зубы, зашагал в ванну, выполняя приказы. Эта гиперзаботливость раздражала, и всё же была приятна.

Мама сняла с вешалки пухлую дубленку на искусственном меху, рукава которой были как у бояр, их нужно было подворачивать, и сама эта дубленка всегда топорщилась, была дубовая. Вечные эти реформы одежды, всегда некстати...

– Там на улице колотун, не понимаешь, что ли? – втолковывала мама, и только теперь я по-настоящему заметил, какие у неё усталые глаза.

Возился, пытаюсь застегнуть дублёнку. Она с силой вывернула воротник, вынула шарф, поправила молнию.

– Напихал опять комом-ломом...

Я обул ботинки, положил паспорт и полис на ящик с гуталинными тубиками.

– Ладно, я, короче, пошёл.

Мама оценивающе осмотрела сына.

– А ботинки-то... страшны, как смертный грех. Папины возьми.

– Все, мне пора, короче... – сказал я, наспех надевая папины ботинки размера, одинакового с моим, но более широкие.

Но тут я понял, что забыл самое главное. Вбежал в дом, проскакал на цыпочках по полу, чтобы площадь наступания была меньше, и выхватил из рюкзака «Мадам Бовари», полуразвалившуюся книжку, склеенную скотчем, с туманной сине-зеленой захватанной обложкой, на которой была изображена вытянутая, как подсвечник, женская фигура. Потом торопливо схватил тонкую чистую тетрадку, выхватил из коробки Машину цветную ручку. Проверил, проведя по руке, есть ли там чернила. Все это я раздобыл за несколько секунд, пока мама не опомнилась. И запихнул в маленький карман дубленки.

– Нет, в карманы, пожалуйста, ничего не пихай, оттянешь, будут пузырями, уродство. И где тебе там читать? У нас так в деревне один зачитался, – внешне пошутила мама, с внутренней тревогой глядя на меня.

– Пока, – сказал я насупившись.

– Шапку! Шапку возьми! Ты что без шапки!

Мама добыла с антресоли толстую зимнюю шапку.

Обняла меня. Я кивнул, увильнул:
– Ладно, короче...
Дверной замок с оттяжкой хрустнул за спиной.

16

Брел вверх по каменной лестнице, заваленной снегом. От него будто исходило свечение. Из щелей между ступенями торчали замерзшие пучки травы.

Иногда поднимался ветер, начинала клубиться пурга. Наш гараж прятался за трансформаторной будкой. Крыша ракушки была продавлена посередине широкой ложбинкой: видно, днем по ней хорошенько попрыгали пацаны. Сейчас, правда, могло показаться, что крыша ссутулилась под тяжестью снегопада.

Я подошел ближе, и только теперь увидел, что папа стоял сбоку от гаража, и отогревал руками замок.

– Помочь чё-нить?

– Нет, Федь, – он потер пальцы, и снова обнял замок широкими ладонями, как будто держал в руках птицу. Потом наклонился и стал дышать в скважину, с силой выталкивая пар, рупором сложив ладони.

– Вот зараза, – сказал он с усмешкой, дыша теперь уже на замерзшие фаланги, пытаюсь их согреть в горсти.

Ветер взметал отдельные, покалывающие лицо искринки, но с неба уже не валило.

Папа попробовал вставить ключ в скважину, с усилием повернул. Заедало, не шло. Он дышал и дышал на ладони. Я тронул замок.

Липкий, обжигающе-холодный.

– Надо его потом промаслить, – сказал папа, выдерживая боль пальцев, пытаюсь разболтать механизм. – Туговато...

Я притулился к тонкой рябине, оберегая живот. Ствол покачнулся, на ветках захрустели твердые кисти ягод. Тут же нападало снегу за шиворот. Я съежился, выгреб его из-под воротника.

Папа пошевелил замок, снова подержал его в руке. И ключ повернулся в скважине.

Он высвободил ухо замка, сунул этот тяжелый кирпич в оттянувшийся карман. Я опустился на колени, обхватил бортик крыши:

– Ухнем?

Папа по-крестьянски хватко и степенно подошёл к другому углу:

– Не торопись, спину своротишь.

Он проскользил ногой по голому льду, поправил на голове кепку с ушами:

– Тихо, без надрыва. Тут штырек такой есть, – подойдя к краю крыши, он вынул потайной штырь из петли. Присел и изготовился к подъему. – Раз, два, три...

Толкнули крышу на самый верх. Раздался протяжный сиплый скрип, потом размашистый, лавинообразный грохот, который обычно слышен даже с нашего 14-ого этажа.

Открылось уютное пространство, похожее на грот. Под шинами древней «Лады» темнел прямоугольник земляного, ещё осеннего пространства, куда нападали жухлые листья. По всему периметру были настелены отдельные куски линолеума, то квадратами, то ромбами. Настоящее стойло, где шевелит ушами степная кобылица.

В машине, как в космическом корабле, затеплился свет. Мотор захныкал, и чудом завелся. Я отпрянул в сторону.

Престарелая «Лада», качнувшись на мерзлом ухабе, с треском проехала по обледелой корке порога, с победным ревом вырвалась из гаража, и вышла к старту. Мог ли я представить утром, что в полночь куда-то на ней понесусь?

Папа в тусклом салоне вынул шпингалет, блокирующий дверь. Но когда я уже схватился было за ручку, батя поспешно выскочил на мороз, опередив меня. Легко, незаметно, как домушник, он принажал ручку двери. Я вспомнил, что дверь могла просто отпасть от неосмотрительного движения, поскольку давно дышит на ладан. Папа грациозно пригласил:

– Прошу!

И, проводив меня, осторожно вдвинул перекошенную дверь в пазы.

Машина грелась. Урчала. Тикала и дрожала.

Я видел через заднее стекло, как папа берет из гаража соломенный веник, обметает порог, захлопывает гараж уже в одиночку. Потом он столь же заботливо открыл другую дверцу, запрыгнул в машину, и тоже защелкнул её.

– Во всем нужен ум да бережь... – промолвил он еле слышно, с иронией глядя на меня в зеркальце заднего вида. Держал руку на подрагивающем переключателе скоростей, по-хозяйски обхватывая руль.

– Смотри-ка, машинка-то моя... Завелась!.. Это даже удивительно!.. по-своему...

Я уважительно кивнул, оценив мощь. Он резко нажал на газ. Я постарался не шевелиться от мутившей меня боли. Съехали с бугра. Папа вывернул баранку.

Машину тряхнуло на «лежачем полицейском» с таким бряцаньем, будто зазвенела каждая деталь. Неслись по ночному шоссе.

– Значит, куда мы?

– В приемное. Там должны скорые стоять.

– В Больницу?

– Да, Федь, да.

Дальше молчали. Я не хотел отвлекать его от дороги. Слева выросла высокая кирпичная башня – котельная, на которую я будучи мелким лазил, перебравшись через забор. Исполинский пар из трубы валил наверх, кувыркаясь, будто белая глина, замешанная в темном небе, плыл по лесу клубящейся тенью.

Неприбранный, буреломный лес, мимо которого мы неслись, наклонился под весом снега, обвалившегося на него за день. Заспанный, взбудораженный от света фар: как ежик, которого посадили в тазик и включили свет...

Если не шевелиться, то можно жить. И даже спать. Только не думай о боли. Думай о чем-нить другом.

Папа смотрел вперед, не щурясь.

Уплыл куда-то сбербанк.

Вот и развилка, и перекресток, и желтое разлапистое здание Больницы.

Встали на светофоре. Он глянул в зеркало:

– Как ты?

Я успокоительно кивнул головой.

Он опять цокнул. Глаза у него были потемневшие.

Мы медленно дрейфовали вдоль корпусов Больницы, фиолетово-желтых от ночного света.

Я разглядел на кирпичной стене огромный плакат с красным крестом.

Дальше угадывался шлагбаум и серый вагончик охранника.

Папа, развернув машину, смотрел куда-то мне за спину. Я помочь не мог, только прижимал ладонь ко лбу, чтобы сдержать очередное насилие боли. Вроде, согрелся...

– Выходим, – сказал он.

– Славненько, – с отвращением сказал я, вжикнув молнией дубленки почти до упора в кадык, и вышел в ночное пространство.

Папа оглядел машину, проверил, правильно ли припарковался. Впритык колесами к бордюру, «чище лошади», как он говорил.

Ещё теплая, «Лада» горяче пахла бензином. Папа заботливо прислонился рукой к слегка заржавленному капоту, и закрыл дверь на ключ.

Я ступил на землю. В темной кабине возвышалась голубая куртка на овчине. Это был спящий охранник.

Папа шел вперед. Я за ним, отставая. Вдали, сквозь ели, просвечивали спокойные фонари – на равном расстоянии друг от друга. Латунный свет пробивался сквозь ветки.

Слева стояло погруженное во тьму двухэтажное прибольничное здание, которое смахивало на санаторий. На небольшом возвышении виднелась закрытая дверь. Над нею горел тусклый фонарь в железной оплетке. Я увидел табличку по трафарету: «Беседа с врачами».

Заглянул внутрь. В темном пустом помещении стояла только швабра с ведром.

– Глухо, как в танке? – аукнулся папа. Он тоже заглянул в стекло, постучал по нему, будто исследовал вечную мерзлоту.

Снова шли по аллее. Поднимаясь над сугробами, одиноко скользили, шурша, синие бахилы, подлетали и опускались, будто маленькие парашюты.

Впереди, за старыми деревьями, брезжило массивное здание главного корпуса.

– А это знакомый, что ль, твой или... – спросил я о предполагаемом мужике-докторе. – Мы как бы по блату, что ль?

Папа усмехнулся:

– Просто когда-то пересекались.

Справа в мешках лежали собранные для сожжения листья, засыпанные снегом. Колодец Больницы, которую я видел столько раз, теперь казался совсем чужим.

Хотелось домой.

– А мобила у тебя есть, номер доктора этого?

Папа в сомнении поглядел на меня.

– Позвонить ему?... Замерз?

– Нормуль.

Вдруг мы услышали женский окрик:

– Вы куда?

Облокотившись о перила возле пандуса, перед остекленной галереей стояла очень полная медсестра, держа сигарету где-то возле подмышки, как бы подпирая бюст, а другую руку зябко сунув в карман халата. На плечи была наброшена куртка.

Она смотрела на нас, прячась в тени огромного фонаря, потом вышла на свет, и заблестел на веках ядреный серебряный макияж.

Папа двинулся ей навстречу, не оглядываясь, широким шагом.

– Добрый вечер. Не подскажете, где приемное?

Я побежал за ним вслед. Шелестела под ногами сухая листва, перемешанная со снегом. Медсестра сделала широкий жест, обводящий здание, – зайдите с той стороны.

За углом дерева росли ещё теснее. Кипела вода в черном люке, огороженном кирпичами, как невидимый гейзер. Вверху светились два окна.

Под елью, поперек дороги, стояла машина скорой. Уперевшись в лобовое стекло, спал водитель, одетый в водолазку, навалился на руль – сиротливо, как будто ребенок; бледное лицо, впалые глаза. Рядом с ним, вразвал, склонив голову в другую сторону, дремала санитарка в синей униформе.

Сквозь смятые жалюзи сочился свет. В дверях появился врач с

лысоватой вспотевшей головой, беспорядочно налипшими волосами, колкими, юркими глазами, которые секунду сканировали меня. Когда я приблизился, они с папой уже говорили. Я встал неподалеку и обстукивал об лестницу ботинки.

До меня долетали обрывки отчасти скучных, отчасти таинственных фраз: «вызов специалиста», «острый живот»... Папа, спускаясь с лестницы, оглянулся, обхватил меня за плечо.

Доктор ещё раз мельком зыркнул на меня, потер локоть и изможденно посмотрел вниз, на скорую. Там мужик в зеленом халате заносил в кузов пустые, напоминавшие палатку, мешковатые носилки. Доктор без слов развернулся.

– Ну, и чё нам делать? – спросил я у папы, обвисая на одну ногу. Любое движение означало муку.

– Тебя осмотрят... Есть проблема одна... пока неясно... – папа не договорил, нажал мне на плечо, и я догадался, что нас прогнали, но не до конца. – Федь, ну проходи...

Окружили серые стены. Папа захлопнул железную дверь.

17

Слева возвышались завернутые в бумагу странные треножники, похожие на вилы. В углу стоял диван, с которого свисали клоки отодранной кожи и торчал поролон.

Доктор что-то сказал охраннику, и тут же скрылся. Нас пропустили через вертушку.

Мы шли по узкому коридору. Вдоль стены лежали мешки. Возле них на коленях склонились две женщины в белом, разглядывая маркировки пачек с лекарствами. Навстречу нам куда-то торопился врач в синем, почти бирюзовом костюме. Он был плотный, как самбист, с крепкой головой и плоским лицом. Казалось, что шапочка, напоминавшая тюбетейку, ему мала. В ответ на папино рукопожатие он механически протянул лопатистую руку.

Папа торопливо достал из увесистого от мелочи бумажника визитную карточку:

– Мы звонили, предупреждали, что...

– Знаю, знаю... Не стойте тут, – сразу перебив, сказал врач, открывая дверь в комнату ещё теснее, размером с ванную.

Возле двери стояла кушетка. На ней, с приспущенными штанами и расстегнутой рубашке лежал какой-то дед. Седые нестриженные волосы разметались по подушке. Рядом нависала капельница. Видимо, если пациентов было больше, чем один, здесь неминуемо возникал эффект проходного двора.

– Сразу говорю, – сказал мужественный врач. – Вам сильно подождать

придется.

От окна, что рядом с ширмой, отошла медсестра. Все стулья были заняты. Я остановился посреди комнаты, отпрянул в угол, к раковине. Дед лежал на возвышении, на боку, будто на полке в поезде, с носовым платком, повязанным под грудью, и вяло, утомленно улыбался, будто у него день рождения.

– Ну, и чего стоим, кого ждем? – сказал доктор, подоткнув карманы руками, и присел. – Разговаривай!

Медсестра вернула на лоб старику съехавший мокрый компресс.

– Как вас зовут? – на выдохе обратилась она к нему, серьезная, молодая. Мне она казалась сильно старше, чем я.

– Фе... фя...

Старик открыл белесые голубые глаза, смотрел как-то мимо, бормотал бессвязно.

– Такое ощущение, что он вообще ничего не видит, – сказала сидевшая рядом дама в спортивных штанах с лампасами, и растерянно подняла глаза вверх, пока врач что-то отрешенно писал. – Это ж надо так допытаться.

Из угла рта потекли слюни, дед не мог их подобрать. Женщина с лампасами подскочила и вытерла их платком, спросила у него громко, как у глухого:

– Пап! Как зовут тебя, помнишь?

Не дождавшись, развела руками.

– Не помнит, – глаза удивленно бегали. Она нервничала и озлоблялась.

– Да проходите вы... – сказала нам медсестра, указав в сторону другой комнаты.

Мы спрятались в соседнюю каморку. Папа прикрыл за собой фанерную дверь. Но и здесь было слышно, как дед стонал и хрипел.

Я повалился на кушетку, покрытую клеенкой, – коричневой, похожей на холст Поллока с брызгами пятен и потертостей. Папа придвинул стул с кривой спинкой, сиденье которого было обернуто в грубую бумагу.

– Протезов нет? – доносился голос медсестры.

– Во рту?.. Н-нет... – сказала тетка. – Говорю же, это самое... позвонил мне, мол, голова какая-то чудная, всё кругом идет. Я приехала, а он лежит на кухне на полу. Я, конечно, испугалась...

– Пьет?

– А то. Таблетки водочкой закрепляет.

– Ну, я и чувствую – перегар на гектар, – хмыкнула медсестра.

Вдруг вошла старшая, судя по властному голосу.

– Ну, всё то же?

Спокойная, кудрявенькая ей сказала:

– Я всё... чао бамбино. Сори.

– Это как? – спросила та.

– А вы на часы посмотрите.

Обе вышли, споря.

Наконец наступила тишина. Кажется, никого не осталось в кабинете, врач тоже куда-то пропал.

Только слышно было, как заворочался дед, опять что-то пытаюсь сказать. В приоткрытую дверь просунулась его рука, безвольно закинута назад.

– Лежи, лежи, лежи! – сказала тетка.

В щелку было видно, как всё та же невысокая, крепенькая медсестра, ворочая в кармане связкой ключей, вернулась, глянула на собственное плечо, отряхнула его.

Увидела меня. Толкнула дверь, и та закрылась окончательно.

18

– Ещё долго, да? – спросил я, крепясь.

– Не знаю, Федь, – папа утомленно пожал плечами. – Знай лежи.

И помолчал, сжав пальцы, глядя, как я мучаюсь.

Я от нечего делать разглядывал интерьер. Пахло свежей шпаклевкой и известкой. Напротив меня белел шкаф, из которого, плоские, как лаваш, чуть выпирали отглаженные врачебные халаты. Когда я вгляделся в стекло, моя бледная рожа с обветренными губами показалась мне совершенно чужой.

В углу стояла старая инвалидная коляска. Две площадки под ногами косолапо, стыдливо смотрели друг на друга. Даже интересно, кого это возят на эдакой развалюхе?

Улегся спиной к теплой батарее. Каждое движение вызывало немилосердный хруст клеенки. В тишине это звучало как горный обвал.

– А что с ним такое-то? – шепотом спросил я у папы про старика.

– Инсульт у дедка, очевидно. Обувку снимай...

Я лениво сбросил ботинок, потом медленно наступил ногой на пятку второго.

– Смотри теперь годности, – вдруг послышалось в углу, и я вздрогнул, как будто кто-то разговаривает прямо здесь.

– За такое – по шее надавать...

Оказалось, за хлипкой стеной переговаривались медсестры.

Папа, опять по-особенному скрестив руки, хотел постучать по моему животу пальцем, один положив на другой. Но вдруг в дверном проёме появился доктор-утёс, тяжелый, усталый.

– В чем у тебя дело? – обратился он ко мне.

– На живот жалуется... Поноса нет, – папа подбирал слова, глядя на меня и будто что-то считывая. Я суетливо протянул врачу паспорт и полис. – Жалуется на боли в низу живота. Началось все утром. В эпигастрии... Потом выпил

спазмолитик, ношпу, кажется, да?..

Врач скалой навис надо мной.

– Жалуетса на боль в правой подвздошной, – папа сказал это, хотя я так не говорил, и не знал, где у меня подвздошная. – Я, честно говоря, грешу на...

– Пересядьте пока, – кратко сказал врач папе, который уже и так пересаживался.

– Раздевайся до пояса, освободи.

Доктор стал стучать по животу сухой, широкой, как кирпич, рукой.

– Больно, – согласился я поскорее.

Врач слегка отвел челюсть, властно объясняя, как на мастер-классе, и продолжал при этом мять мой живот:

– Вздутия нет. Перистальтические движения не видны. Грыжи не вижу. Раздражения не вижу. Передняя стенка не напряжена, – он показательно простучал в нужном месте хозяйской рукой.

Если он сильно вдавливал, я поневоле морщился, чувствуя в животе трепет.

Папа настороженно смотрел на меня. Я признался:

– Щас в туалет по-маленькому ходил чаще, чем обычно... И внизу давит.

Доктор глубоко и мерно сопел, продолжая щупать. От него пахло крепким мужским одеколоном.

– Мочевой пузырь безболезненный. Может, от поясницы идет. У него искривление, – он широко провел по спине толстым пальцем. – Трусы присними. Иррадирует в пах?.. Сними, говорю, трусы... Половые органы нормально, ни травмы, не увеличено... Задерживай.

Он распрямился. Широкая грудь выдвинулась из разреза медицинской рубашки, как у мясника. На его лице было никакое выражение, ровное, нейтральное, по-своему убедительное, укорененное как жаргон на языке или коготь на руках рабочего. Он минимумом средств выражал, что ему все равно. И смотрел так, не потому что хотел что-то доказать или обидеть, а потому что привык. И это было по-своему внушительно, доказывало стаж.

– Возьми термометр в стакане, померяй...

– У него 37 и 8, – сказал папа уважительно. – Полчаса назад мерили.

– Не важно, – врач выпрямился. Прикрыв глаза, посмотрел на папу, как на стену. – Надо, чтобы анализы были на руках. Сейчас лаборатория не работает. Утром. Утром только...

– Ну, а... госпитализация? – спросил папа, в очередной раз неуверенно поглядев на меня.

– Сейчас анализы все равно не получится. Без анализов – чего гадать?

Доктор уже посуровел, нахмурился и утвердил:

– Не можем принять. Я только-только звонил, узнавал... – и он устало покачал головой.

– Дело в том, что я врач...
– И чё? Я тоже врач, – бесстрастно сказал врач. – Полный загруз, понимаете, нет?

– Госпитализация, значит, не нужна? – спросил папа.

– Я не знаю, – ответил врач с вызовом, свесив вдоль туловища крепкие руки.

Я повернулся лицом к стене и пригладил волосы, стараясь не расплескать силы. Глупый разговор.

– Очень болит, внизу, вот тут, – наконец вмешался я. – Может, таблетку, что ли, какую-нибудь?..

Я с надеждой всмотрелся в широкое лицо и короткие губы, напоминавшие мне итальянскую каменную маску «Уста истины».

Врач ответил:

– Ждите тут.

И вышел, вплотную вписавшись в дверь.

Я глянул на папу. Его взгляд был растерян и одновременно напорист. В руках он переминал зимнюю кожаную шапку с ушами, паспорт и полис.

– Щас, Федь... – оглянувшись, он нервно поправил рукою портфель под стулом, решительно встал, и тоже вышел.

Я лежал один, тщетно прислушиваясь к глухим разговорам.

Но вскоре в стационар вошла медсестра, на ходу вскрывая целлофановую упаковку со шприцом.

Я догадался. Лег на живот. Фыркнули резиновые перчатки.

Я протянул руки вдоль тела, как пловец.

Что-то колют. Авось, полегчает.

Под кожей, внутри разлилось горячее, лекарственное тепло. Резко запахло фломастерами – то есть, спиртом. Медсестра обхватила мою руку, задержала палец на ватке, приложенной к месту укола. Ещё какое-то время там подергивало.

Вскоре вернулся папа, тихонько прикрыв дверь.

– Обезболивающее? – он перевернул упаковку на тумбочке рядом со сломанным шприцем. Но голос у него был уже другой, более легкий – видно, о чем-то договорились. Для меня всё исчезло. Я считал секунды в ожидании, когда *подействует*. И спросил, только чтобы отвлечься:

– Ну чё, домой? Или не домой?

Но в этот момент медсестра, которая до этого порывалась уйти, вошла с аппаратом для измерения давления, не спеша присела рядом, и папа не ответил.

– Давай, – сказала она хрипловато, обхватив мою руку холодной ладонью, и долго выщупывала пульс.

Потом вынула из кармана секундомер. Дрогнула паучья ножка стрелки. Она положила мне руку на грудь, и что-то считала, внимательно наблюдая, как

сжимается и распрямляется грудная клетка.

Молча размяла мою правую руку, вывернув её ладонью вверх. Манжет мерялки давления жарко сжал предплечье. Пыхтела груша. Постепенно кожух, схвативший руку, ослаблял натяжение. Я чувствовал, как мерно пульсирует в кровь в руке, видел, как чётко надулись голубоватой сеткой мои жилы.

А медсестра уже писала что-то на большом листе, лежавшем на планшете. Деловито заправила под колпак темные волосы.

– Вставай под ростомер...

Я оказался вровень с длинной планкой. Она с силой подбила верхнюю деревяшку мне под макушку:

– Можешь не вихляться? Пятками встань, затылком и попой. Спинку выпрями. Отходи, – и снова чиркнула что-то у себя в записях. – Выдохни, – она обняла меня лентой-сантиметром. – Вдыхай.

Кожаные ремни стянули слабую грудь, сомкнувшись под лопатками.

– На весы. На середину.

Я поднялся в носках и трусах на белый поддон, стараясь не кособочиться. Железо блюда, на котором я стоял, нервно бряцало.

– Не двигайся, – медсестра, щурясь, передвинула гири, потом закрыла затвор. С ней я чувствовал себя пионером, а её пионервожатой. Старшей сестрой.

– Сколько там? – она снова приблизилась к коромыслу. От неё легко повеяло табаком. – Шесят три с половиной. Давай мне градусник.

Когда она ушла, я стоял на поддоне, забыв сойти с него от удивления.

– Боль исчезла... почти, – и я радостно похлопал себя по животу.

Папа слабо улыбнулся мне с кушетки.

– Значит, домой? – звонко спросил я его.

По глазам я понял, что понял неправильно.

– Нет, Федь, – и он обратился успокоительным тоном, но что-то уже решил. – На ночь тебе лучше остаться здесь...

Я помолчал. Покатал в пальцах ватку со спиртом.

– Ясно, – сказал я, слегка помрачнев. – Но вообще-то мне, если честно, лучше. Правда.

– Дай Бог.

Врач из соседней комнаты громко скомандовал:

– Я ухожу.

Только когда папа сорвался с места, я понял, что это было сказано нам. Отирая пот от напряжения, я напяливал джинсы, всовывал руки в рукава дубленки, шнурки запихнул в ботинки, не завязывая. Папа устремился куда-то, схватив под мышку рабочий портфель, будто собирался им таранить стены.

В соседней комнате койка опустела. Дед исчез, как ни бывало...

Охранник на пропускном пункте ковырял отверткой ногти, на секунду

отвлёкся, увидев, как я торопился, слегка прихрамывая. Но боль дремала.

Я выздоравливаю. Ура.

На меня почти против воли накатило веселье.

Куда-то зачем-то ведут. Ну, и пускай. Главное, боли нет. Да я плясать могу.

Ну, кладут, значит, в больницу. До утра. А завтра, верняк, выпишут.

Врач опихнул широким, упёртым плечом дверь, и створка с грохотом закрылась за широкой горой-спиной.

Я обернулся.

– Иди, Федь, ага, – сказал папа устало, шагая вслед.

И я шел дальше за ними, не оборачиваясь, с усилием отбросив дверь за собой.

19

Квадратные часы на стене показывали без двадцати час.

В гардеробе блестели пустые крючки. Ларек с продуктами был задернут жалюзи. Хотелось петь и жать руку врачу. Я впервые мог думать о чем-то кроме боли. Так она скоро совсем сойдет на нет.

Раскрылся просторный лифт с железными перилами по сторонам. Почему он такой огромный?

Врач по-прежнему молчал. Лифт басово тащил нас наверх.

Двери открылись и перед нами неожиданно возник темный коридор. Впереди краснела надпись, которую я не разглядел.

Не заметил, как с нами оказалась медсестра, а мистер Мускул исчез. Высокая, худощавая, она вела нас, держа в руках большие листы. Мы прошли мимо секретера с настольной лампочкой. Затем наступил новый период темноты, похожий на сумрак отеля. Коридор упирался в окно, которое льдисто подсвечивалось фонарем.

Медсестра зашла в боковую комнату – оттуда брызнул свет. Кого-то позвала. Вторая выскочила и сказала неожиданно громко:

– Вот же, – и хлопнула ей в руки большую кипу белья.

Почти в самом конце коридора высилась пустая кушетка с продавленной сеткой. Женщина, которая нас сопровождала, ловко бросила на кушетку матрац, раскатала его, и из этого блина вывалилась мягкая, излежанная, как в поезде, подушка. Вторая расстелила свежую простынь, которая пахла крахмалом.

Глаза привыкали к почти полной темноте. Медсестра молчала, упершись в высокую кровать на колесиках. Оказалось, она выжидала, когда я, наконец, лягу.

Я передал папе куртку почти наощупь.

– Захватишь?

– Конечно, – шепотом ответил он.

Боль в животе пульсировала, но совсем безобидно.

Я вынул из кармана тетрадку, ручку, книжку. С утра почитаю.

Вольготно распластался на матраце.

– Портки, наверно, снимай, – сказал папа как бы шутливо.

– Да меня немножко знобит...

Поскорее отвернулся к стене, вслушиваясь в живот. Удивительно. Ушла боль. Как в океане наступает отлив и сохнет песок.

Папа потрогал мой лоб.

– А температура-то держится.

– Эт' ничего...

Я вздохнул, чувствуя, как отдыхают ноги. Все концентрировалось вокруг сиюминутных ощущений. Сунул в карман уже полусухую ватку.

– Федь, ну что ж... – папа оглянулся, пожал мне руку, погладил по голове.

И пошел куда-то за медсестрой. Она выключила даже маленький свет в нашем отсеке коридора.

Я валялся, задрал голову назад, глядя на перевернутый холл, сложив руки на животе, и ждал, когда вернется папа, чтобы толком его расспросить. Я всё думал о дежурном враче, который нас встретил. Хороший мужик.

Вскоре закружилась голова, наверно, просто от усталости, и я перелег на левый бок. Боль в животе совсем кошачья, безобидная...

Почти уснул, впечатав голову в пыльную подушку.

Но отчего-то вдруг открыл глаза. В коричневом мраке обступали звуки, постепенно проявлялись предметы. Я разглядел, что вдоль стен повсюду стоят кушетки, и на них тоже спят люди – с сипом, хрипом, прикашливанием. За дверью в палату, которая находилась впритык к изголовью, раздавался уверенный присвист. Но все это ничего. Главное, боль пульсирует всего лишь маленькой точечкой в углу живота.

У самого окна, в двух метрах от меня, спал кто-то, завернутый в простынь, согнув колени, прерывисто, трудно дыша, запрокинув голову вверх кадыком. Виднелись протянутые вдоль тела руки в крестах пластырей.

Тонко, но пронизывающе воняло дешевым, жженым, давно выкуренным табаком. Так пахнут окна в поездах. А главное, теперь я слышал запах лекарств, плотный, вбирающий, необратимый.

Вступил конский мужицкий храп, теперь уже где-то вдали, с эхом и улюлюканьем.

И я проснулся, выкатился, как мяч, из наступавшего сна. Но это было нестрашно. Насторожило то, что озноб усилился.

И вдруг я уловил, что в животе опять бродит знакомая боль, что она возвращается и наступает, резкими широкими ударами в бочину.

Я ведь почти уснул. Но теперь меня осенило. Ни папа, ни врач, ни

медсестра не придут. Батя, кажется, даже попрощался со мной, только я этого не заметил.

Час ночи.

Задрал голову.

Вдали, за высоким секретером светилась настольная лампочка. Но стол был пуст. Вгляделся в двери. Закрыты. Боль вдруг обступила так, что любой поворот грозил потерей сознания.

С ног до головы обдавал то холод, то жар. Я с трудом поднялся с кушетки.

В полной темноте кровать заскрипела, как огромное старое дерево. Перебужу полбольницы... Схватился за железный прут спинки, приложил холодную руку ко жгучему лбу. Перекрестился.

Знать бы, сколько сейчас времени, сколько до утра. Секунды считать. И в туалет страшно охота. А где он здесь? Как его найдешь, если не видать ни...

Устал. Упасть обратно.

Ядром, сносящим дом, боль навалилась сильнее, – и я, почти уснувший, обнаружил, что лежу с открытыми глазами, свернувшись ежом. На подушке угадывалось грязное пятно штампа по накрахмаленному белому, бессмысленные бурые пятна.

Я плавал в собственном поту, но боль была такая, что не было сил стянуть свитер. Стопы, за которые я схватился руками, как для прыжка, покрылись гусиной кожей. Никогда раньше не предполагал, что укол обезболивающего – это так желанно, так хорошо, и так скоротечно. Где и кого искать?..

Господи, помоги. Убавь эту боль. Всмотрелся в мужика рядом, готов был его позвать, разглядывая сквозь ядовитую темноту. У него была перебинтована грудь, в середине которой расплылось мелкое темное пятно йода или крови.

Нет, нельзя его дергать, лежащий, что ли. И орать нельзя.

За окном бесшумными теньями падали снежинки. Напротив меня различалась надпись: «Кладовая».

Думал, хоть справа кто лежит. Но оказалось, это холмы наваленных друг на друга матрацев, а не человек.

А дальше – совсем чужие, спящие мужики и тетки. Ещё испугаются. Ситуация какая-то беспрецедентно нелепая. Боль ведь не объяснишь.

И о чем просить? Ведь врач меня уже посмотрел!

Надо было не «Мадам Бовари» брать, дебил, а мамин мобильник. Кто же знал, что все будет зависеть от одного звончка.

Н-да.

В глазах вертелись и веселились колбочки и палочки. И валом, девятым – накатывала лихорадка, и снова схватывала боль, зачерпывала нутро железным ковшом. Ненавижу её.

Терпи. Все вокруг терпят.

Но что я такого сделал? За что?
А ты разве не знаешь? Мало сделал людям г...на?
Поводы для покаяния возникали тут же, но слишком уж невыносимо было наказание. И не хотелось верить, что оно заслуженно.
Я лежал – один – я – лежал – один. Надо собрать силы и идти искать...
Слышен тугой храп, будто играют на трубе.
Снова поднялся, и снова упал. Мозг мыслит, а ноги не идут.
Я буду жить по-другому, не буду ни над кем насмехаться, никого обижать.
Господи, пожалей.
Но ничего не менялось.
Машина боли крушила и крушила живот. Я сократился до вдоха-выдоха, между которыми чудовищно перла из меня, в меня – безвыходно – боль. Прикусил губу, чтобы переместить её, теперь болел и угол губы, солоновато.
В окне дрожали ветки. Укачало. Как будто сейчас вырвет опять.
Снова молился, морща подбородок, плача беззвучно, оскаливаясь, как ребенок, глядя то на тусклую лампу над пустым столом, где должна быть дежурная, то в темное окно, на которое едва слышно напирал ветер, и оно дребезжало, то просто упершись носом в подушку.
Собрал силы. Шагнул в желто-коричневую полутьму. В измождении дернул пару дверей с табличками. Закрыто. Дальше отходить от кушетки сил нет. Рухнул на постель. Поцеловал крестик.
Лучше спать, зарыться в слоистую темноту.
Утро вечера мудренее. Страшно что-то. Тьма превращается в белую ночь. В бредовом сне ищу дверь. А за ней ещё и ещё. Последняя – туалет.
Дергаю. Тоже закрыта.

28 октября.

Вторник

1

Сверху включился длинный люминисцентный светильник, и стал едва слышно гудеть. Окно стало фиолетовым. Я обнаружил себя сложенным вдвое, в полузабытьи. Сам не заметил, как задремал, словно изможденный охотник возле зверя, им убитого. Меня второй раз тронули за плечо, а потом стали тормозить.

– Ермошин!

Я приподнял голову, судорожно озираясь. Над кроватью стояла остроносая медсестра в белой шапочке с узким лицом, тонкими губами, длинной косой. На щеках едва заметен нервный румянец.

Девушка торопливо сунула мне в руку листки и поставила под кровать банку из-под детского питания. Сказала, не дожидаясь ответа:

– Анализы. С шести тридцати.

– Какие? – я шурился на бумажки.

Но она уже исчезла. Я подполз к бортику кушетки. Нашупал теплую, только что промытую пустую банку, на ярлыке которой были начертаны моя фамилия и инициалы.

Майка на спине промокла насквозь. В люди выйти неприлично. Я свесил ноги и сунул их в ботинки. Давай, потихоньку.

Подставил листки под поток ржавого света. Общий анализ крови, сахар крови, группа крови и резус-фактор, общий анализ мочи, анализ кала, УЗИ, гастроскопия. Впору обратно ложиться. Про гастроскопию наслышан...

Нет, надо умыться, почувствовать себя человеком.

Горбясь, пришаркивая, я всё же брел по коридору.

Дверь ближайшей палаты была открыта. Там лежала полуголая бабка, вся в путах проводов, со сбившейся простынью, огромным подгузником, с серым лицом и трубкой во рту, целлофановыми колбасками тянувшейся к мешку, который был подвешен на палке. Бабка лежала с открытыми глазами. Удушливо пахло застоялой мочой, ромашкой, марлей. Видно, из всех человеческих дел у неё осталась только способность думать и смотреть пронзительно, но сказать она ничего не могла.

На лестнице, мигая огоньком, докуривал крепкий парень с голым торсом, губастый, в штанах на веревочке. Рука была в грязном гипсе. Он затушил окурок, приклепывая сланцами, удалялся по коридору. Повсюду висел вязкий, как виноград «Изабелла», табачный дым.

Уборщица в халате и резиновых сапогах пятилась назад, протирая пол в узкой кабине туалета.

– Подожди, – сказала она сурово.

Я помолчал, потирая лоб. Наконец, кран гундосо запел. Я умылся ледяной водой, пригладил волосы. Мучительно задвинул дверную щеколду.

...Сунул шнурки поглубже в ботинки. Не хватало споткнуться. Потащился вдоль кушеток, обхватив баночку с мочой, как ученые держат пробирку. Лежачие ещё спали, и на их беззащитные лица было как-то неловко смотреть.

Осторожно поставил банку под кровать. Повалился.

Вот передохну, и пойду искать нужный кабинет. Обязательно. Но – после небольшого, так сказать, кофе-брейка...

Содрал ногами носки. Почему раньше не догадался? Как хорошо теперь.

Боль брыкалась.

Брел вдоль длинного забора, в глаза частыми ударами стучал белесый солнечный свет. Впереди дерево. Там – тень. Но она никак не начинается.

Я ловлю солнечные удары, словно баскетбольные мячи – а они летят в голову, закрывая глаза, солнце слепит. Из-за поворота налетает велосипедист, и рулем ударяет мне прямо в живот.

Уснул, что ли? Окно, разрисованное инеем, стало белым.

Хорош валяться. Вперед. Свесил ноги, сунул в ботинки, как щупают холодную воду, помаленьку входя в реку. Встал. В палате слева была открыта широкая дверь. Оттуда, как из камеры, смотрели мужики. Один, усатый, обложенный кучей костылей, лежал, сцепив руки на животе. Другой, с небритыми щеками, зыркнул на меня в упор.

Мимо по коридору спешил щуплый ординатор.

– Извините, – я поймал его. – А где здесь анализы сдают?

– Это тебе на третий, и до конца...

Я не поспевал за ним. Развевались полы халата.

– А время-то уже! – добавил он. – Закончили, наверно, прием... – он пожал плечами. – Проверь.

Я торопился с банкой мочи к дверям лифта. Нажал на кнопку. Кабина не подавала признаков жизни. Я ждал. Наконец, понял, что надо ещё и «Пуск» нажать.

Время, время!

Двери медленно соединились – железо в железо.

2

В комнате сидели две женщины. Я протянул листок и – стыдливо – тяготившую меня баночку.

– Долго спите, молодой человек, – сказала одна. – Всё уж в лабораторию унесли.

Я держал бесхозную банку двумя пальцами.

– А кал?

– Да какой уже кал, на часы посмотрите, – обернулась вторая, поливая цветы на подоконнике из банки, по виду напоминавшей мою.

Я помолчал.

– Не подскажите, куда мне теперь? – и показал бумажку.

– Иди быстрее кровь сдавать, второй этаж, найдешь там, если ещё забирают.

– Спасибо, – сказал я вежливо, смутно пытаюсь запомнить.

Дотащился до туалета, вылил мочу в унитаз. С калом, значит, тоже разрешилось.

Сколок оконного стекла, из-под которого сильно дуло, за ночь покрылся инеем.

Промыл баночку.

Постоял, упершись руками в колени, перетерпывая боль. С силой открыл дверь.

3

В кресле сидела сутулая и вдумчивая дама в старомодных очках на цепочке, обводила красной ручкой объявления в газете «Новые рубежи».

– А кровь – это у вас?

– Садись.

Я присел на край стула. Передо мной возвышалось нечто вроде портсигара с пробирками, наполненными ядрено-алой кровью. От них тянулись стеклянные веточки.

Интеллигентная, но твердая врачиха подержала в руках листок. Произнесла, держа осанку, без объяснений:

– Руку на стол.

Она ткнула мне в грудь пальцем, на котором был перстень с шариком бирюзы, приперла меня к спинке стула. Резко, одним движением натянула прозрачные перчатки и раскрыла пачку с маленьким, но острым пером.

– Правша?

– Левша.

– Давай палец. Смотри на календарь.

Смешно. Я же не боюсь. Видимо, она всем такое говорит. Врачиха резко уколола безымянный, самый уязвимый. Я искоса смотрел на палец, почувствовал его ранимость, что-то дернулось в душе. Потом она обхватила подушечку возле самого конца, как учитель фортепьяно, который нетерпеливо вминает руку в нужную клавишу.

– Да что ж такое, – сказала она чуть слышно, сжав морщинистые губы.

Наконец капнула огненной каплей крови на квадратик стекла.

– Всё, – сказала она. – Бери ватку.

– Спасибо, – я вышел вполне бойко, гордясь собой за бесчувствие.

Хромал и хромал, да вдруг коридор стал заваливаться набок. Не веря себе, я продолжал идти, поглаживая стену. Сердце заполонило грудь, усиленно kloкотало, билось где-то возле кадыка. Покатился потолок, как будто все предыдущее стало бредом, а сейчас наступает явь.

Был такой комикс с Дональдом Даком: если он ударялся о фонарный столб, вокруг него мелькали звездочки и круги. Значит, я в здравом уме, раз это помню.

Думать – думаю.

А вот ходить чё-то не вытанцовывается...

Рядом со старым ламповым телевизором возникло кресло. Тряхнул головой,

посмотрел на отброшенные руки – словно чужие – сквозь наплыв электрического промелька.

Бросало в пот.

На пальце – ржавчина подсохшей кровинки. Я отодрал ватку от пальца, нюхнул едва слышного спирта, сжал в кулаке.

Подымайся. Ты пережил ночь. Сейчас везде – бодрые люди. Они помогут.

Неподалеку ухал, будто филин, лифт. Я нащупал его двери, и чтобы не рухнуть, протянул вперед руку, защищаясь от подступающей дурноты.

4

В полутьме, как огонь в первобытной пещере, мерцал экран. Полумрак был тревожный, но по-своему уютный. Обитые пластиком стены, гладкие плитуса, свежий запах краски. Похоже, будто частная контора. Вдруг заставят платить?

Женщина в белом халате, миловидная, с прибранным темным локоном, видневшимся из-под косынки, смотрела в экран монитора. Пробежала глазами потрепанный листок, и снова закликала мышкой:

– Садитесь на койку. Не курили?.. Запоров нет?..

Я смущенно покачал головой.

– Натощак пришли?..

Я кивнул, она тоже согласно кивнула. Я поставил под кушетку пустую баночку, снял растянутый свитер, стараясь компенсировать свой бомжовый вид тем, что сложу одежду без складок, как в магазине. Стянул с себя футболку, и тоже уложил красиво.

Молодая врачиха молча, отработанным жестом показала, чтобы я лег, и я покорно послушался.

– Юлия Сергеевна, гель закончился... – промолвила она.

Тут только я заметил, что в глубине кабинета сидит её напарница, постарше, с хватким взглядом, прицеленным в свой серебристый экран:

– Посмотри сама в ящиках.

– Возьмите пока полотенчко, – сказала мне ближняя, и сунула в руку матерчатую ткань.

Я взял ярко-зеленую тряпку. Смотрел, ничего не соображая, на картинку в мониторе, где плавал раструб эхолова, и что-то рябило, словно в звездном небе с бешеной скоростью неслись старые и серые планеты.

– Не бойся, больно не будет, – доброжелательно сказала узистка.

– Да я не боюсь, – прошептал я, и почувствовал, как треснули обветренные губы при попытке улыбнуться.

Она тронула мое правое плечо перчаточными руками. Наверно, думает, я худой.

Открыв новый тюбик, она стала бережно обмазывать мой живот полужидкой мазью, будто совершая ритуал.

– Где болит? – спросила тихо.

– Вот здесь, – я ткнул пальцем возле пупка.

– А вы прям датчиком покажите.

Я взял лопатку. Провел под солнечным сплетением, заехал поддых, чуть правее, чуть ниже, обмазанный этим жиром, как фотомодель мужского журнала. Медсестра перехватила датчик, и медленно бороздила им по мне, иногда сплющивая живот с одной стороны, надавливая с другой.

Я закрыл глаза. Пора разобраться. Что со мной происходит?

Печатная машинка моей жизни стучала, стучала. И вдруг – щелчок, сбой. Абзац. Остались только мелкие, мгновенные мысли. Все прежнее отделилось. А эта реальность близка, непонятна, как каменная стена, и прет на меня.

– Подойдите, пожалуйста, – сказала медсестра врачихе, близоруко всматриваясь. – Мне кажется, вот здесь контрастность исчезает, – она клацнула ногтем по монитору.

Женщина в халате привстала, пожевывая жвачку.

– Не знаю... – сказала она, недолго поразмышляв. – Положи его на другой бок...

Я стал медленно поворачиваться.

Семинары, друзья. Она, до боли близкая и недоступная, ставшая каким-то болезненным мифом. Сейчас все спряталось и сжалось, будто в игрушечной табакерке сыпучий табачок. А огромный город больницы, по которому мне предстояло шаркать, обступал со всех сторон.

Захлестнула боль, я в голос закричал.

– Щас, щас, – молодая снова водила датчиком по пузу, медленно, по миллиметру. – И вот тоже контур прерывистый. Здесь, по-хорошему, доплером надо...

Эх, ладно тебе. Все просто, как топор. Кишка за кишку зашла. Съел несвежее. Обычная история.

Опять намазали живот скользким гелем.

– Ещё раз покажите, где болит...

Я окунул палец в чавкающее месиво. Сканер хрустел пластмассой. В этой тишине и темноте я чувствовал себя немного нормальным человеком. Хорошо быть под чьим-то присмотром...

– Вытирайтесь.

Промокнул гель тряпкой и лежал, отдыхая, ожидая диагноза. Но тон последней фразы был будничным, без надежды на откровения. Я насухо вытер пузо полотенцем. Тряпка одноразовая, многослойная, жалко было её тратить на себя.

Приподнялся с кушетки.

– Всё? – уточнил я.

– Всё, – сказала молодая легко.

Аккуратно, чтобы соответствовать евроремонту, я сложил тряпицу вдвое.

– Спасибо.

– Па-жалуйста, – ответила девушка беззаботно.

Выйдя в коридор, на ходу нацепляя свитер, я понял, что там, в пещере, было жарко. А здесь снова лихорадило и носился сквозняк.

Вдруг дверь открылась. Я оглянулся.

– Это – ваше.

Медсестра протянула мне забытую банку.

– Как же я мог...

Она закрыла дверь.

5

Надпись на табличке с подтеками, очевидно, пугала уже не одно поколение. Старыми трафаретными буквами отчетливо читалось: «Кабинет гастроскопии».

Не ошибешься.

Напротив сидели двое – женщина средних лет и девочка-подросток в халатике, напоминавшем ночную рубашку.

Сесть было негде, только с ними рядом.

Девушка болтала ногами, обутыми в меховые тапки в форме медведей. Женщина с короткой стрижкой, в брюках и на каблуках, непоседливо привстала, случайно качнула ряд откидных стульев, мимоходом потискала девчонку за руку, и прошла несколько шагов по коридору, сложив острые ладони за спиной.

– Вы на гастроскопию? – спросил я, прилизав вспотевшие волосы.

– Да... А вы тоже собрат по несчастью? – женщина оглянулась с веселым видом. Значит, она не считает меня конкурентом в очереди. Это радует.

– Там открыто?

– Да.

– Кто-то есть?

– Да.

Стало мрачней. Вдруг тётка прошептала, отойдя к окну:

– Мне прям самой страшно, – и содрогнулась.

Это подбодрило. Мол, что нам скрывать.

Я мельком взглянул на тинэйджерку, которая играла в «змейку» на мобильнике. У неё было лицо клоунессы, кудри, большие, кукольно-округленные глаза. Со сдержанным любопытством и опаской она следила за этой тёткой. Её мама? Как-то на неё непохожа...

– И у вас живот? – обратилась ко мне женщина.

Я кивнул, и она стала быстро-быстро говорить, азартно указывая на девочку:

– Вот и у нас клиент. Представьте, пришли из школы, Сонька за живот держится. Ни ношпа не помогает, ни маалокс, ничего.

Я не успел отреагировать, а она продолжала:

– Нас доктор сюда помог – тут доктор такой хороший, Павел Анатольевич, вы его знаете, может быть? Вчера – просто удивительно, боль ди-ка-я была, а сегодня Сонька встает, и ничего не болит, как рукой сняло, ребенок как ребенок!

Я пораился этому факту, искренне, как мог.

– Ну, это бывает, – продолжала женщина, обращаясь ко мне, как к равному. И под села к Соне. – Говорю, растущий организм, может, у тебя по женским...

– Теть Инн, хватит? – оскорбилась Соня, и психованно закивала головой.

– Ладно, ладно, – та торопливо поправила круглые очки. – И вот мы сюда. А у нас тут Павел Анатольевич есть такой хороший... Мы с ним ещё поговорим. Стоит нам эти муки-то терпеть? Может, не стоит. Мы вас вперед пропустим, не переживайте.

И «тетя Инна» засмеялась. Хотелось называть её «тетя Инна».

Девчонка тоже улыбнулась, посмотрела неожиданно сдержанным, ясным взглядом, закрыла лицо руками. Я увидел кошачьи царапки на тыльной стороне ладони. А тетя, видимо, из тех тетей, что ездят на роликах и играют в компьютер.

– Холодно тут, – сказала Соня.

– Щас, щас, наш выручатель выйдет, – и неугомонная тётя Инна снова повернулась ко мне. – А он шутник такой, приколист. Говорит: бегите скорее отсюда, вот такая вот трубка, – она сложила пальцы кольцом. – С лампочкой. Ну мы с ним, Сонь, пообщаемся. Куда-то он вышел, что ли. Вы не видели? Статный такой...

Я сжал губы в прилежном припоминании, развел руками, и снова стал слегка покачиваться, как маятник, прижимая локти к животу.

– Что, так болит? – спросила Соня. От неё повеяло духами, которые скорее напоминали запах чупа-чупсов.

– Да не, не...

– Ну, вот вы первый и идите, – почти серьезно сказала тетя Инна, как будто мы давние друзья, и она обо мне заботится.

– Дамы – вперед, – сказал я, поддерживая её шутливый тон.

Сквозь сильный тональный крем и пудру у девочки виднелись веснушки. Красится. Значит, чувствует себя ничего. Я тоже вполне себе, в общем-то.

Может, и меня этот Павел... Денисович отправит восвояси?

Но вдруг из кабинета послышались пронзительные, истерические крики, потом дикий кашель, отхаркивание. Мы с Соней оба покосились на дверь, переглянулись, но у неё в глазах опять была смешинка.

– Тебе сколько лет? – спросила она.

– Восемнадцать.

– Ого! Выглядишь младше. Мне шестнадцать.

– Выглядишь старше, – хмыкнул я, и понял, что сказал что-то не то. А сам незаметно спрятал в рукав баночку для мочи.

– Я, может, ещё на фотостудию сегодня успею, – вздохнула Соня, изучая медведя на тапке.

– Куда тебе?! – притворно-строго воскликнула тетя Инна, отойдя от окна, которое выходило на внутренний двор. – Не пущу. Постельный режим.

Соня ответила скептически, и при этом у неё покраснели уши:

– Щас...

Она мерзла, натянула рукава халата на ладони. Прислушалась с умным видом к звукам из кабинета, опять переглянулась со мной:

– Что-то там вымерли совсем.

Вдруг я подумал, что мило болтаю с ними, трачу драгоценное время, а в результате получится бездарно, как с баночкой мочи.

– Ладно, увидимся ещё, – буркнул я, и решил поискать, где делают второй анализ крови.

Но в этот момент дверь кабинета раскрылась. Оттуда показался мальчик лет двенадцати, с отцом, который поддерживал его под плечи. Мальчик всхлипывал в тишине коридора, ему было стыдно слез, он закрывал лицо, как будто вокруг фоторепортеры. За ним пристально следили три пары глаз.

А в дверях стоял доктор. Тетя Инна уже подбегала к своему Анатолию Павловичу. Суетливо достала коробку конфет, загремевшую шоколадом:

– Ой, все там перетряслось... ну, как есть.

Снова шурша пакетами, извлекла оттуда пачку чая. Доктор, невысокий, жизнелюбивый, с короткими усами и залысинами, картинно топорщил руки:

– Не возьму.

– Паш, ну Паш, ну чаю с детьми попьешь.

– Иннусь, ты с ума сошла, – бормотал он. – Чаю – ладно, коллег попою. А конфеты сами.

Я думал, что уже и сам хочу на гастроскопию. Если это поможет, я готов. Только быстрее. Но тетя Инна с врачом загораживали кабинет, негоже влезать поперек бабки в пекло.

– Я очень хорошо её понимаю, – врач закинул голову, будто любовался на Соню, беззаботно сунул руку в халатный карман. – Чего вам тут ловить!.. – Потом рассмеялся, сдался, как хороший актер, взял конфеты под мышку. – Ну, спасибо, Инн.

– Всё, не будем тебя отвлекать. Своим привет передавай.

– Обязательно.

Тетя Инна идилически склонила голову к девочке, как подружка. И они направились вдаль по коридору.

Доктор крикнул вдогонку:

– Но выписка, учтите, часа в четыре.

Он потянулся, выпрямил спину руками, завел их за голову. Тетя Инна развернулась на каблуках:

– А что так долго-то?

– А ты как думала! У нас тут не бухгалтерия какая-нибудь, как у некоторых! Считай ещё, повезло... – и доктор снова хохотнул. – Дочь у тебя – красавица. Не дочь... ну... – он смешался. – То есть... Можно сказать...

И тетя Инна вся сжалась. Неловко качнула бедром:

– Ну, можно и так сказать.

Они пошли по коридору.

Доктор стоял в своем мятом халате, на секунду о чем-то задумался, глядя им вслед, взволнованно потирая шею. Вдруг увидел меня, опершегося о стену.

– Нужен зачем-нибудь?

– Да, – ответил я. – Мне надо на гастроскопию. Сюда?

– Сюда, – утомленно откликнулся он, и с готовностью опустил ручку двери. Но сказано это было без того радушия, с которым он беседовал с ними. Как учитель, который начинает принимать экзамен у идиота после того, как отвечал вундеркинд.

Надежды, что он прогонит, не осталось.

Доктор, пропустив меня вперед, прикрыл чугунные ворота.

6

Кабинет напоминал мастерскую обилием проводов и мониторов. Из приемника, будто из морских глубин, доносилась оперная ария. Плыл голос Марии Каллас, качаясь на радиоволнах.

Доктор вздохнул, поднял брови, погладил рукой небритый подбородок. Как-то сразу поскучнел.

– Значит, ещё раз, – спросил он серьезно.

– Вот... бумажка. У меня живот очень болит.

Он взял листочек. Вздохнул:

– Сядь на кушеточку. Рот открой. Что так напрягся? Высунь язык. Сейчас для начала тебе заморозочку... – он приветливо достал из стеклянного шкафа какой-то баллончик. Прыснул мне в горло. Из рта у меня повалил холодный пар.

В это время в дверях подсобки обозначилась медсестра, стянула клетчатый шарф.

– Расслабься пока, полежи, – сказал врач.

Я лег на кушетку, уже чувствуя снег в горле, и с опаской пошевелил языком. Он молча остановился у окна. И стоял так несколько минут.

Тянулся из радио неземной красоты вокализ.

Вдруг врач сказал:

– Давай, на левый бочок.

Медсестра, переодевшись в халат, тщательно мыла руки. Я, повернувшись и замерев, лежал на кушетке. Врач оглянулся и неожиданно сказал ей:

– Смотрю на тебя, и люблюсь. Давно не виделись.

Она молчала.

– Уезжала куда-то? – спросил он.

– В Египет, – ответила она, скромно отряхивая руки над умывальником.

– У нас тут зима, а ты, значит, в Египет, – он посмотрел на неё игриво-осудительно. – Хорошо там?

– Нет, там отлично...

– Первое слово «нет»? – он засмеялся, как-то бессмысленно поглядел на меня, разматывая проводки, щелчком включил одутловатый монитор и властно развернул его к себе. – Вот женщины. Первое слово «да» должно быть, а потом уже думать!

– Мы вроде про Египет говорили, – снисходительным голосом сказала медсестра, и подошла к спинке кушетки, повязала мне под горлом резиновый слюнявчик.

Я напрягся. Невыносимо лежать на левом.

– Вот и я про то же, – продолжал доктор негромко. – У тебя сейчас важный период первичного накопления сексуального опыта. О-очень важный, – добавил он насупленно, и наклонился ко мне. – Сглотни. Тяжело?

– Есть немного, – сказал я, и потерев пальцами возле сонной артерии.

Мария Каллас продолжала петь. Медсестра подтянула меня за подбородок вверх. Я покорно пододвинулся и снова замер.

– А в Египет у меня брат летом ездил. Сопли сыплет... – доктор приблизил к моему лицу плевательницу. – У меня-то ляльке год, я не могу. Так-так, Ольга-Оленька-Олюня... – прочувствованно произнес врач, и в последний раз со значением посмотрел на неё. Потом мягко, но с внутренней мощью нажал мне на голень:

– Правую подтяни... Зажимай нагубник, – и протянул мне круглую вещь, похожую на деталь акваланга.

Я осторожно вставил тугую резину в рот, доктор резко вдавил, чтобы этот предмет плотно прилег к зубам. Он снова заговорил негромко, так, что слышно было, как движутся его губы, но объяснял четко, быстро, как инструктор перед прыжком:

– Все делается для твоего же блага. Чем внимательнее будешь слушать

и выполнять, тем лучше. Ел давно, Федь? – он вдруг обратился ко мне по имени, и это подкупило.

– Шутки уже назад, - я пытался сказать «сутки», гордо и шепеляво, но нагубник мешал.

Он кивнул. И вдруг притянул ко мне толстый резиновый хобот:

– Заглатывай трубочку.

Началось.

– Глотай, глотай, не останавливайся. Дыши глубоко, споко-о-ойно.

Я стал задыхаться. Он пропихивал мне трубку в горло. Медсестра крепко обхватила мне голову, выравнивая её, постоянно задирая вверх, хотя я рефлекторно кивал подбородком. Что-то продрало гортань.

Одна ария закончилась, началась другая.

Я глотал и думал: чем быстрее, тем лучше. Казалось, хватит, - но мужик, перехватывая руками, протягивал все глубже бесконечный шланг. Я приподнял голову, смотрел на него сквозь слезы, заволокшие глаза. Текли слюни. Меня содрогали рвотные рефлексы – непрерывная, громкая отрыжка.

– Всё нормально?

Я махнул рукой: нормально.

Болталась, словно хобот, резиновая трубка с делениями, цвета стандартной грелки. Что-то внутри царапалось и давило, будто она касалась самой кости, всё нутро ныло, как после бронхита.

Но трубка тонкая. Нестрашно. Фигня. Нестрашно.

Медсестра стояла, склонившись к монитору.

– Вон они, вишь, «немые зоны», – промолвил врач, будто увидел врага.

Я испугался этих слов.

Врач смотрел на экран – но тот был развернут так, что я ничего не понял.

У меня внутри лампочка. И какие-то зоны.

Доктор медленно вытягивал хобот обратно. Трубка терзала глотку, но сказать я не мог.

Он и не спрашивал.

Я утер заплаканные глаза. Медсестра в самом деле симпатичная. И уже стыдно своей немощи. Только боль в животе не проходит.

– Отдохни, – и доктор снова устало встал к раствору окна, положив руки враспор на подоконнике.

Я дышал. По радио грянули трубные фанфары: «Двенадцать часов в Москве».

Кто-то постучался.

– Подождите, – резко сказал док.

Там, за дверью, наверно, нервничают. Надо вставать. Очень хотелось услышать что-нибудь подбадривающее – но, прежде веселый, теперь врач

был задумчив и тих.

– Отдышись ещё там, за дверью, – хмуро сказал он.

– А бумажка? – спросил я, и только в этот момент понял, что у меня больше нет голоса.

– Я отнесу. Ничего не пей, не ешь два часа. Хорошо?

– Ага, – шепнул я, заглядывая ему в глаза.

Он уселся за стол. Халат на нем висел и торчал, как холка у ворона, измокшего под дождем.

– До свиданья... ния... – пролепетал я хрипло. Он, кажется, не услышал. Я вышел, ступая на цыпочках, чтобы сотрясения земли не отдавали в живот.

Что ему стоит сказать: «Ваше положение не опасно». Или: «Сегодня выпишут». Или: «У вас немые зоны. Но это норма». Он ведь добряк...

Не сказал.

В коридоре пусто. Ни тети Вали, ни юной Сони. Сознание путалось.

Я понял, что забыл, какой мне нужен этаж.

Охранники смотрели телик в специальной будке. Один, откинувшись на спинку кресла, ближний ко мне, с рельефным лысым черепом, немолодой, неторопливо и с теплотой в голосе говорил по телефону:

– Надеюсь вас там не занесло, – он глянул куда-то в пространство. – А у нас тут страна Лимония. Лазурный берег, на яхте плаваем, – и он с першинкой засмеялся скуластым бывалым лицом. – И все ж трудна у нас с тобой дорога. Ну, спи, бедолага. Пока, Серега, – и повесил трубку.

Превозмогая немоту, я спросил у него:

– На каком этаже... живот лечат? Как это отделение... называется? Я оттуда.

– А ты чё, не помнишь? Во дает, – поразился охранник, блеснув треугольной бляхой с эмблемой харлей-дэвидсона на коротковатых брюках. – Что у тебя? Болезнь какая?

– «Острый живот».

Он иронично вслушался в мое сипенье, облизнул губы, готовый добродушно пошутить.

– А не склероз? – и переглянулся с другим. – На четвертый, наверно, да? В хирургию тебе. А палату хоть знаешь? Номер?

– Я в коридоре.

– А-а... Люкс-холл, значит?

Второй хмыкнул, поглядывая в телевизор.

В кармане джинсов, сложенные вчетверо, хрустели ещё какие-то направления на анализы. Но я понял, что больше на них не пойду – и двинулся к широким дверям.

Очень знакомый шум сумок. Потом близкий выдох. Я встрепенулся перед тем, как папа окончательно решился меня разбудить.

Я так ждал его прихода, но представлял себе всё иначе. Здесь было слишком шумно и суетно. Мимо ковылял лохматый старик с целлофановым пакетом на ноге, передвигая костылем, как будто шестом проверял глубину лужи. Из-под его треников высовывались старые трусы. Рядом хрипло, с мокротой, сопел тучный дядька. Где-то вдали бубнил телевизор. И боль по-прежнему грызла живот.

– Пап, ты! – спросил я спросонья, и хотел встать с койки, но не сразу получилось.

Он стоял возле кушетки с большими пакетами. Глянул на меня, щурясь уголками глаз, будто и сам болел вместе со мной, и похлопал меня по плечу:

– Присяду тут у тебя, – он отдернул простынь, сказав это так, будто постель не казенная, а моя личная. Папа был в нарядном бордовом свитере, из-под которого выглядывал расстегнутый на одну пуговку ворот белой сорочки.

– Модный-то какой... – шепотом сказал я, но значения этому не придал, и тут же с нетерпением впился в него взглядом. – Решилось чё-нить?

– Щас... – он ушел от ответа, подбросил за ухо прядь аккуратно постриженных пепельных волос, погладил бороду. Заговорил о том, что мама передала. – Матрица кашу на воде приготовила! – раскрыв сумку, он вынул оттуда круглую пластиковую коробочку, доверху наполненную овсянкой. – В термосе чай, пей не хочу... – он опрокинул термос вниз и плеснул кипятка в туристический раскладной стакан, раскрыв его одним взмахом.

– Спасибо, спасибо... – проскрипел я.

Папа терпеливо держал стаканчик за края. Я перехватил чай, и с трудом, раненым горлом, глотнул.

– Бифидокультуры, – продолжал папа свой перечень. – Надо микрофлору в кишечник насаждать. Йогурт, попросту... – он достал из сумки две теплые бутылки со сползшими от влаги этикетками. – Питайся! Ещё вот тапки тебе... – он выдернул из другого пакета шлепанцы, вывалил их на пол, всунутые один в другой, будто устраивал презентацию.

– Хорошо... – изможденно сказал я, придерживая миску вялыми руками, совсем не желая есть, пить и ходить.

– А что, ложку разве не положили?... – он стал искать ложку, как будто от этого зависела вся моя будущность, наконец добыл из сумки чайную, алюминиевую, заботливо завернутую в отдельную салфеточку. – Ешь, Федь, пока рот свеж... Щас-то как живот себя чувствует?

Я подумал, говорить ли про жуткую ночь.

– Вроде ничего...

Я сунул в рот ложку каши, покатал во рту. Почему-то совсем не ощущаю вкус.

Папа склонился, чтобы упрятать в пакет мои ботинки. И вдруг увидел под кроватью банку для анализов, приподнял её и настороженно спросил:

– Слушай, а ты мочу сдал?

– Ну да, – я покраснел. – С утра... Гастроскопию делал. Кровь.

Раздражаясь из-за того, что наврал, я скинул одеяло.

– Кровь? На что? – зачем-то допытывался он.

– Что значит – на что? Из пальца.

– А из вены? – с опаской спросил папа.

– Ну, не успел сегодня... Это вообще кому-то надо?

Папа удрученно хлопнул себя ладонями по коленям.

– Ну, Федь... Что ж так слабо-то... – он уперся в меня упрямым взглядом. – И мочу, значит, тоже не сдал?

Я не хотел, и не мог в голос жаловаться: я ведь без сил, еле дышу, меня боль измучила, передвигаюсь только на носочках, перенося себя от метра к метру. А там, в этих кабинетах – изображать приличия? – нет на это терпения, и все анализы кажутся такой ахинеей. А выглядит так, что мне лень, хотя я выдержал самое сложное! Но я наврал.

И от этого разозлился, и ещё больше путал:

– Не успел... Гастроскопию делали – слышишь, говорить не могу? Фигней этой по животу водили!.. Весь день ношусь туда-сюда... А мочу – ну, не вышло! Что теперь, удавиться?

– И тебя никто не осматривал? Никто не подходил? – папа вздохнул. – Понимаешь, все надо делать вовремя. Пропустил ты часы ответственные... Ну, Федь, ты ешь, пей.

– Не хочу, – я гневно бросил ложку. Но тут же опять вцепился в него. – Слушай, ну, может, ты поговоришь с этим, знакомым своим? Может, домой пора? Все-таки учеба. Живот уже проходит. Почти. Вроде, уже не тошнит!

Папа медленно оттянул мне веко, повернув мою голову на свет.

– У тебя зрачки-то вон... по копейке.

Я вывернулся. Снова пожевал снегоподобной каши, с трудом глотая.

– Подкрепляйся, – сказал он. – Пойду переговорю.

– А потом как? Вернешься? – последнее слово, к счастью, прозвучало без вызова.

Папа потопал ногой в синей бахиле и искоса посмотрел на мобильник.

– Мне в семь надо... – как бы внезапно вспомнил он.

– Пациенты? В Москву?

Он помолчал, кашлянул:

– На съемки.

– Сегодня эфир?... Все-таки будет? – я слегка воспрял от меланхолии. – А как называли?

– «Ты без наркоты», – он нервно покачал носком ботинка, покусал губу. Что-то его смущало. – Понимаешь... снимают на студии, где специфическая публика. Чародеи, маги, волшебники. В соседнем офисе – секс по телефону... – он махнул рукой. – Ну, будет работа в прямом эфире. Я уж надеюсь, хоть до кого-то дойдет.

Папа взял крышку от коробки с овсянкой, нервно смахнул пальцем капельки пара. Мне не хотелось его отпускать.

– Да!.. мобильный-то возьми, – предвидя, что я снова буду спорить, он поспешно вынул из портфеля мамин телефон. – Знаешь, как пользоваться? Очень простые действия.

– Разберусь.

Я не спорил. Хотя теперь за мобилой следить надо. И ещё, сотовый телефон испускает все эти вредные эманации.

А папа вдруг увлекся, стал нажимать на изящные кнопки, предназначенные для женщин с маникюром. Экран загорелся ядовито-зеленым светом. Он показал надпись на экране: «Андрюша». Потом – «Дом».

– Да знаю я...

Лучше бы папа был сам.

На прощанье он успокоительно положил руку мне на плечо.

Я закрыл глаза:

– Посплю чуть-чуть.

– Конечно, конечно, – сказал он с облегчением. – Восстанавливайся.

Шумно поднялся, свернув кулаком пакеты в единый кулек. Последний раз склонил голову наискось, чтоб заглянуть мне в лицо.

– Ну что ж, Федь... – и недоговорил.

– Удачи, – сказал я, и уперся взглядом в потолок.

Я приложил к голове прохладную книжку. Поговорить бы ещё, хоть о чем, хоть о «Мадам Бовари».

Отложил кашу, свернулся калачиком. Проводил папу взглядом до конца отделения, до нечетких, плывущих дверей.

Я виноват перед ней. Что ж, теперь навсегда. И вряд ли поговорим всерьез, после такого холода. Видела бы ты меня. Какое счастье, что не видишь.

На днях всей компанией собирались в Музей кино... Она не пришла. Мы не виделись – сколько? Месяц?... Два? Все – после лета, когда я сказал, что она надо мной издевается. Сорвался, при всех. Глупая сцена из худшего фильма

Трюффо...

Вдруг, опомнившись, я услышал массивные шаги. Увидел перед собой гору – вчерашнего мощного доктора в белом больничном халате, и невысокую, с длинной косой, сутулую медсестру, семенившую за ним.

– Ермошин! – веско сказал врач и вдруг тикованно дернул щекой, как будто выплюнул камень. – Ты анализы сдал? Что ты как барин лежишь?

– Почему это?.. – я протер глаза. – Я сдавал...

Я поневоле приподнялся, подбоченился, стараясь справиться с волнением, и стал ещё больше похож на какого-то трутня.

– Кровь из вены! Направление дай сюда.

Он почти выхватил протянутую мной покоцанную бумагу. Пробежал глазами строчки.

– Ну, и где ты был? – скалистый врач произнес это с презрением, глядя сквозь меня щелками глаз-дробинок, будто прислушивался.

– Я сдавал другие... там... куча была анализов.

– Кровь из вены – в первую очередь! Почему не слушаешь, что говорят? А моча где? – он снова безразлично качнул бугристой, из единого куска вылепленной головой. – Слушай, ну я за тебя не отвечаю. Ты неадекват.

И ушел вместе с листком, впополам согнув его ногтем. Медсестра вынула из своего нагрудного кармана градусник и торопливо протянула мне.

Я чувствовал себя уязвлено и гадко. Понятно было, что я нарушил какие-то правила, но ведь...

Не было никаких но. Вдвойне охота отсюда свалить. Стыдно говорить о напирющей боли. А больно, больно – как никогда в жизни.

Но вскоре медсестра, послушанием похожая на японку, покраснев, вернулась к кушетке и сказала:

– Собирайте вещи.

Стараясь доказать свою адекватность, я стал расторопно сгребать в кучу мобильник, коробочки, бутылочки и термос, сунул ноги в тапки.

– В шестую палату – за мной иди... Постель с собой... – сказала она бесцветно. – Во-оон та дверь.

Немолодой дядька, почти старик, что-то бубнил. Но увидев, что я вошел, он замолчал, и возникла неловкая пауза. Его губы были недовольно выпячены, носогубные складки с усами сурово и скорбно выдались вперед. Он почесал грудь жилистой рукой, провожая меня глазами. Поскольку дед был без майки, хотя и накрыт простыней, я мельком заметил на его плечах какой-то странный загар – блестящий, лоснившийся коричневатого.

Я кивнул ему «здрасьте» и бросил смущенный взгляд в сторону второго сопалатника. Тот сидел на кушетке возле стены, в майке болотного цвета, уперев локоть в колено и выпятив живот, как фавн. Кудреватые короткие волосы прилипли ко лбу. У него было широкое щетинистое лицо, припухлый нос и черные маслянистые глаза сорокапятилетнего человека, который сохранял отрешенное любопытство.

В палате оказалось перетоплено, жарко, но эти двое, видимо, не замечали духоты.

Я бросил на кушетку матрац. Расправил белье и выложил нехитрый скарб. Мне хотелось поскорее сложить с себя эту ношу, повалиться на матрац и отвернуться к стене.

Незнакомая медсестра с какой-то странной улыбкой отодвинула меня за локоть от кушетки и промахнула шваброй пол. Неуловимо повеяло кислым маринадом. Она распахнула форточку. Непонятный запах смешался с запахом снега из окна.

– Хозяйка, погоди-ка, а это, что ли, у тебя пластыри на каблучках? – добродушно спросил фавн, хохляцки гхэкая.

– Чтобы вам спать было тише, – ответила медсестра, выворачивая тряпку, с той же острой, застывшей улыбкой. – Всё для вас. А вам все не по вам.

И Улыбчивая исчезла. Кудрявый мужик хмыкнул и откинулся на подушку. А второй, старик, лежал с отсутствующим видом, безвольно бросив руку себе на ребристую грудь, подтянул мятую простынь. И только время от времени поглядывал на меня.

– Сказали сюда переехать, – пояснил я в тишине.

– Что же, хорошо, – откликнулся дед, глядя в потолок, а потом вяло, но дружелюбно подмигнул, будто был выпивши. Глаза с лопнувшими сосудами были налиты желтизной. Взял часы с тумбочки, подержал, удивленно топорща усы:

– У, смотри-ка. Уже шесть, без семи... – и стал медленно заводить часы крепкими пальцами с широкими ногтями, похожими на скорлупы.

Я подумал: неужели вечер? По-моему, длится все тот же бесконечный, резиновый день. И впереди новая ночь.

Я постарался расправить одеяло. Положил на край тумбочки мобильник, и коробку с недоеденной кашей, и...

– Ставь, ставь, не бойсь. Я щас уберу всю эту херомантию, – засуетился дед, видя моё смущение. Мне стало не по себе от его попыток активности. Он слегка охнул, и повернулся на бок.

– Не стоит... – сказал я.

– Щас, это, щас...

Он стал терпеливо, по одной, переставлять с длинной тумбочки под

батарею пустые бутылки, обхватывая их пальцами за горлышки, хотя места было достаточно.

Я повергся на кушетку, будто поезд тронулся, и теперь можно дрыхнуть на верхней полке. Правда, пункт назначения я не знал.

Вдруг в дверном проеме, мне показалось, по коридору прошла девушка, чем-то похожая на Соню: штаны с оборочками, какой-то фиолетовый халатик. Все равно не догнать. Впрочем, может, и не она совсем.

– А меня дядя Саша зовут, – медленно проговорил усатый дед, и протянул мне шершавую и крепкую ладонь. – Фомин моя фамилия.

– Федор, – я незаметно утёр об одеяло потную руку, и протянул ему. – А вас? – я спросил дальнего, не разглядев, что тот дремлет, лежа на боку.

– Миша он.

– Очень приятно, – заученно промолвил я. Дядя Саша, мой новый знакомец, поудобней улегся. Вдруг я опять услышал его глухой голос:

– А что у тебя? Живот, что ли, болит?..

Я кивнул, и ещё больше сжался.

– И что говорят?

– Пока ничего.

– А ничего и не скажут! – перехватил он почти со злорадством, как будто я доказал его заветную мысль. – Медицина! Я две недели лежу, считай... – дядя Саша понизил голос, видимо, вспомнив о том, что Миша спит, но прозвучало это так, будто меня принимали в тайный клуб. – Биохимии какие-то сдал, фуимии по второму кругу... а толку. Говорят, не знают ничего. Чего не спросишь – ничего не знают, – и он пожал плечами.

Я заворочался. Хотелось куда-нибудь спрятаться. С каждым приступом боли оставалось все меньше сил. Я вытер мокрую шею подушкой.

А дядя Саша лежал, глядя в свой сегмент потолка, и ронял слова:

– Да какие две! Две с половиной уже, считай. Тринадцатого положили... Ты видишь, что у меня?.. Не видишь?

Я изобразил недоумение, хотя понимал, что что-то нехорошее.

Все закрипело. Он приподнялся, как в замедленном кино, выбрался из простыни, голый по пояс, будто желая мне что-то доказать, или надеясь, что я что-то опровергну. Грудь была атлетичная, но очень худая, и показался живот – страшный, одутловатый, выпирающий. Всё тело было желтое, как воск.

– Желтуха. Это не заразная, говорят, механическая... – зашептал он. – Камень у меня удалили, в жёлчном, – он ткнул себе в живот.

На лбу прорезались широкие угрюмые морщины. Фомин обхватил большими, удлиненными лапами лысоватую голову, потом прошелся пальцами по жестким седоватым усам, с досадой поковырял волдырь на плече.

– А желтизна – вишь? – не спадает, сука! И ничё никто объяснить не

может. Вот дед попал на старости лет. Сушняк бесконечный. Не жру ничего. Кроме сухариков, – и Фомин внезапно отчаянно повеселел.

Медленно переваливаясь, он приблизился к маленькому зеркалу рядом с дверью. За ним на проводах повлачились два мешка. Он ещё что-то говорил. Я не слушал, потому что скрутился, как жгут, подтянув колени к себе.

Когда миновал очередной приступ боли, я увидел, что Фомин всё так же изучает в зеркале свое отражение. Наконец, сутулясь, шаркая тапочками, дядя Саша вернулся к кушетке, оперся о тумбочку рукой, снова придерживая шланги, будто, стоя на берегу, держит удилище.

– Хана знаешь? – вдруг спросил он.

– Нет, – сказал я резко, почти яростно, сражаясь с болью. – Какой ещё Хан...

– Ну, зав здешний – Ханом его зовут... – терпеливо пояснил Фомин. – Я ему говорю: скажите по-человечески, какой курс лечения. Пошли, грит, на процедуры, понял. Что делать? Пошли. А там молодой у них какой-то – ты видишь, что мне...

Фомин вывернул семейные трусы наизнанку, потрясая синюшным членом, из которого торчало что-то вроде иголки, а за ней проводок, пропущенный через штанину.

– Как всодит! Я аж взвыл. Говорю: на кой вы это? Я же писию нормально. А он в бумажках порылся. Вроде как: сопутствующие нашли. Почки, мол! Да какие почки! У меня всегда почки в порядке. А потом он мне грит, еще проверим, но вы простите, говорит, мы анализы перепутали. Ты представляешь? Проверятьщики, б...дь.

Я снова искоса посмотрел на два шланга, торчавшие из его трусов. На твердых целлофановых мешках были написаны какие-то китайские иероглифы, а внутри бултыхалась мутная жидкость и темная моча. Может, от этого кисловатый запах в палате.

Второй сосед приподнялся с кушетки, и вышел, смешно поквакивая шлепанцами. Видно, Миша слышал это не в первый раз. А дядя Саша всё теребил лежащий на тумбочке кластер:

– Вишь, чё делают... Таблетки пью, сам не знаю, что за таблетки. А желтизна-то не сходит ни х..я! На осмотр всё какие-то неопытные ходят. Где вот Хан, видел ты его? И не увидишь. Всё дела да случаи. Я все понимаю, не совсем я дурак. Но зачем же меня унижать? – промолвил он вдруг почти примирительно. – Рыдание одно сплошное...

Фомин попил воды из пятилитровой канистры. Медленно закрутил. Крякнул. Миша вернулся, заскрипел кушеткой: у него было простодушное, грязно-небритое лицо, майка в обтяг. Видно, что без особой нужды Миша в разговор не влезал. И все же добавил из своего угла, поудобнее устраиваясь:

– Дядь Саш, а чего ты хочешь? Это раньше лечили, а теперь

занимаются лечением, – у Миши оказался неожиданно тонкий, правдолюбивый тенорок и ниспадающий южнорусский говорок. Он приготовился к своей истории, густые брови съехались домиком. – У меня племянница, братова дочка, месяц назад!.. На работе плохо стало – внематочная беременность. Провели ей операцию, а через неделю опять плохо. В ту же больничку привозят, врач пишет диагноз – внематочная. Она чуть не упала: мне же неделю назад операцию сделали... «Что вам сделали, гражданочка? Вам другую трубу удалили!». Главврач ещё и наорал. Брат мне звонит: «Что делать?» А что тут сделаешь?.. И вторую удалили.

– Н-да, – сказал дядя Саша и вязко облизнул губы. Помолчал, думая о чем-то своем, потом опомнился, осмысляя мимоходом. – Это же она теперь детей не сможет?..

– Так про то и речь, дядь Саш!

Фомин, подтянув дренажи, мучительно взобрался на подоконник, специальной палкой подтолкнул форточку кверху и захлопнул её:

– Чтоб нам не сифонило...

Слез, улегся. Ещё подумал, дружелюбно повернулся ко мне:

– Тебе свет оставить? Миш, ты выключи.

Тот покорно привстал, аккуратно нажал на выключатель, вырубив самый яркий светильник.

Фомин медленно закрыл глаза. Видно, и сам утомился от своих хождений, сетований, непонятости. А я лежал, разбитый болью, на кушетке. У всех тут была своя.

Дверь со скрипом сама собой растворилась.

Миша, который был ближе всех, как самый ходячий, прикрыл её крупными пальцами-сардельками.

Большое окно за шторой погружалось в синеву. За деревьями, нарисованными чернью, тусклым золотом плавилось шоссе. А вверху, во мгле, густились облака. Снег трепетал, как цветное лоскутное одеяло, сотканное из розового, рыжего, голубоватого тумана под фонарями – куполá снега, которые вибрировали, дрожали, колыхались.

Я с трудом приподнялся на кушетке, чтобы глотнуть йогурта, хотел запить им тревогу. Но от одной мысли о том, что нужно в себя что-то заталкивать, меня опять почти стошнило. Боль, кажется, достигла максимума. Температура явно поднялась. Я радовался, что трезво оцениваю ситуацию, но сделать ничего не мог. Мной овладело бессилие.

Всё же я взял с тумбочки мобильник. Ткнул в телефонную книгу, найдя

«Андрюша». Забывая стыд, тихо стоная, слушал длинные гудки.

– Да-да? – раздался далекий, взволнованный голос.

– Слушай, пап, мне так хреново... я щас гигнусь.

– Брюхо рвет на части? – папа сразу заговорил подчеркнуто-грубо. Он куда-то спешил. – Зови людей. Объясняй им, что с тобой, слышишь?.. У меня эфир через две минуты. Я должен отключиться... Слышишь, Федь?

– Извини, извини.

– Позови хоть кого-нибудь, в темпе.

– Ладно...

Я нажал отбой. Не могу, нет сил говорить.

И тут я увидел оловянные, строгие глаза Фомина, его удлиненную напрягшуюся голову с веткой сосудов на виске.

– Мишк, – сказал он. – Ты глянь на него, – он пристальнее взгляделся в мое лицо. – Ты чё молчишь лежишь, ты же серый весь! – он резко отхлебнул воды, задвигался кадык.

Я чувствовал, как ревет, клокочет пульс. Прощешил:

– Это уже двое суток...

Фомин, подтянув треники, подошел вплотную:

– Позвать кого?

– Если не трудно, – сказал я.

– Так чё ж ты молчишь-то, епт? – он почесал грудь. – Пойду скажу.

Миша привстал:

– Ладно, лежите. Я сделаю, – и косолапо зашлепал вьетнамками.

Я лежал, омываемый потом, подложил руку под горячую щеку, икая от боли.

– Спасибо, – сказал я, глядя в одну точку.

– Да за что спасибо-то? – сказал Фомин, по-прежнему глядя в свой кусок потолка.

Вскоре послышался юный, высокий, почти пацанячий голос:

– Что-то случилось?

– Плохо тут, – громко сказал Фомин. – Вон, малый совсем загинается.

Я сжал скулы. Оттолкнулся от холодной стены. И увидел парня с пробивающимися усами и бородкой, в белом халате, который был ему не по размеру велик. Я тут же про себя назвал его «ординатором». Папа тоже когда-то был ординатором. Склонилось насмешливое молодое лицо, с приглаженными светлыми волосами. На темени торчал непокорный хохолок.

– На что жалуешься? – спросил он.

– «Острый живот», говорят, – заученно прошептал я. – Я больше терпеть... не могу...

Парень начал привычное щупанье, на которое не было надежды, бегло, не сядясь на кушетку, пристально, цепко.

Смахнул челку вбок. Надавил в разных местах маленькой ладонью.

– Тут больно?

– Да, – тихо сказал я.

– Напряженная вся...

Остановился, потом мягко переместился вниз. Прижал зачем-то у поясницы, справа, а другую руку приложил в том же месте к спине. Боль навалилась медвежьей лапой.

Он как будто что-то уловил. Передвигался к правой стороне, ниже, к паху, где было еще больнее. Худые руки высывались из-за обвисшей стандартной рубашки.

– Язык покажи.

Я показал язык, подержал его высунутым.

– У тебя корка, – сказал парень, и, кажется, снова удивился.

Опять убрал руки, утер испарину на лбу. Я поднял голову.

У него странно загорелись глаза, словно он нашел клад:

– Животище вздутый донельзя. Температуру мерил давно? Ну-ка, дай пульс... – он протянул мне градусник, а сам сжал мою руку, и долго ждал. – Слышь... – сказал он негромко, прищурившись. – Я, конечно, не знаю... хм. Короче, ты лежи тут. Не бегай никуда. По ходу... у тебя аппендицит, – и он странно, удивленно, почти торжествуя, улыбнулся. Затем торопливо, будто застеснявшись, исчез.

Фомин сказал в пустоту:

– Ага, сейчас он встанет и убежит.

– О как... – сказал я растерянно, пытаюсь хоть что-то осознать.

Дядя Саша отвернулся от меня. Видно, ему тоже было плохо.

Молчали.

Прошло две минуты, три, а никого не было. Миша поглядывал на меня с интересом, будто ожидая продолжения, когда в палате появился доктор, армянин, с черными ухоженными усами, юркий, энергичный. Он положил планшет с желтоватыми листками, которые были разграфлены ровными линейками, а рядом – дорогую золоченую ручку.

Меня поразило, что в «шапке» его опросного листка было написано: «РСФСР», и виднелся ещё советский герб.

Черноусый в сто первый раз стал ощупывать меня.

А ординатор негромко, но с интересом сказал, опершись об дверной косяк, какой-то девице, заглянувшей в палату:

– ...есть шанс, что перфорируется.

Доктор прижав живот, шлепнул меня по пояснице. Боль пронзила так, как если бы кольнули в бок штыком.

– Все, прости, прости... – сказал мне незнакомый врач, как ребенку,

приятным баритоном. – Давно болит?

– Два дня...

– Раньше такое было?

– Ага... то есть, нет, конечно, нет...

– Сейчас больнее, чем раньше?

– Да!

– А анализы все сделал?

– Нет...

Он долго листал бумаги, покусывая ус, положив ногу на ногу из-под халата, писал, писал.

– Попробуй сам встать, без рук.

Я закричал.

– Все, не надо... Втяни животик.

Я чуть не заплакал.

– Покашляй.

Я кашлянул пару раз слабо, ощущая, как покрываюсь холодным потом, преодолевая тугую боль. С внутренней смёткой морща лоб, очередной человек всматривался в мой живот, объясняя парню в халате, который стоял скрестив руки:

– На лицо посмотри, тургор никакущий... Как это вообще понять.

Взял мою руку. Я сам почувствовал, что она покрыта холодным потом.

– Тихо, не двигайся, – сказал он, посчитал и записал. – Готовьте к операции, – бросил он, мягко, с акцентом произнося «ц». И выскочил, низкорослый, живой.

Молодой парень тут же засуетился, стал командовать и кажется, ему нравилась эта роль:

– Вставай, пошли.

– Хорошо, – сказал я заторможенно. – Мобильник щас. Мобильник. Я маме позвоню...

– Потом, потом! – он схватил меня за плечо. – Можешь сам?

– Постараюсь. Значит, аппендицит?

– Разберемся...

Боль путала сознание, делала все деформированным, белесым. И больно здесь – и непонятно, что будет там...

Ординатор уже помчался куда-то, хлопнув по двери с надписью: «Процедурная».

– Никуда не уходи. Сиди здесь, понял?

И, пропустив меня внутрь, испуганно, с азартом захлопнул дверь.

В узком помещении, похожем на кладовку, я присел на край чугунной ванны, тяжело и быстро дышал, как собака, оглядывая пустые полки. Светил тусклый, красноватый свет, и зеленел экран мобильного.

Я не знал, как набрать домашний. Не мог осуществить простейшие действия. Понимал это, и руки ещё больше тряслись...

– Ел давно? – спросил Ординатор уже раздраженно. Пока я осмыслял вопрос, он нацепил синие резиновые перчатки, открыл шкаф и торопливо достал оттуда какой-то причудливый инвентарь, размотал шнур, похожий на трубочку от коктейля, шваркнул железной миской, бросил какие-то майонезные пакетики, ножницы, прочую мишуру, и разложил все эти таинственные предметы на столе, застеленном зеленой ватной пеленкой, как будто играл в пасьянс на сукне.

– Йогурт пил... пару глотков буквально... – прошептал я.

– Значит, зондик надо па-любому, – сказал он, бегая глазами по разложенным им вещцам, и видимо, испытывая некий драйв.

В руках у него было прозрачное, тонкое лассо, которое он долго разматывал, морщась, и зачем-то накрутил его часть себе на палец. На кончик Ординатор насадил затычку, и смазал чем-то вроде клея.

– Садись давай, – сказал он, пододвинув стул.

Когда я сел прямо напротив него, он чуть приподнял мою голову, взял меня ладонью за затылок, и внимательно, дрожащими руками оттянул мою челюсть. После, будто наживляя нитку в иглоку, посмотрел мне в ноздрю. Зажал её липкой перчаткой, и чего-то ждал.

Я опасливо наблюдал за его манипуляциями.

Потом он прижал пальцем другую мою ноздрю. Примерился, и стал всовывать мне в нос пластмассовый шнур, плавными движениями, будто играл на скрипке. Я весь внутренне сжался, чувствуя, как пробивается, толкается в нос колкая, сухая солома, и иногда вздрагивал тоже. Он перебирал руками, проводя зонд внутрь меня.

– Сглатывай... Тошнит? Ты носом дыши, носом.

Я глотал, и все больше пластмассы набивалось в горло.

Он ловко прилепил трубку большим куском пластыря к переносице.

– Скажи что-нибудь. «Мама» скажи.

– Ма-ма, – сказал я гундосо.

Как больно-то. По всему животу, в пояснице, в паху.

– Подыши. Нормально?

– Намана.

Теперь надо с этим существовать.

Ординатор открыл мне рот, посветил туда фонариком.

Потом приставил комически большой шприц к шнуру, болтавшемуся у меня на уровне груди. Всё внутри воспротивилось этому. Ординатор медленно тянул поршень, я чувствовал, как что-то заныло в животе, а он тут же заткнул трубку крышечкой.

– Перед операцией обязательно помочись, – сказал ординатор, и я понял, что его дела закончились. – Это уж ты сам как-нибудь.

Он собирал свои предметы, свернул пеленку, пока я стоял и писал. Вдруг он остановился, посмотрел на меня как на обреченного:

– А свитер?..

Я оглядел себя, не сразу сообразив.

– Ну ты красавец. Снять надо было!

– Что, всё заново?.. – безучастно сказал я.

– Ладно, давай пока, гребни в палату, там попробуй...

– Мне домой звякнуть надо.

– Быстрее, пулей! – и он на ходу побросал в целлофан комочки перчаток, снова взъерошил вихор, и резко вышел, глядя куда-то вдаль.

В пустой кафельной комнате я наконец сумел набрать «Дом». Чтобы не пугать маму, гулко откашлялся, порепетировал, пока слушал длинные гудки:

– Алло, алло...

Вдруг в телефоне я узнал маму, запыхавшуюся, как будто она моет полы или куда-то идет.

– Мам, привет. Это я.

– Алё? Я слушаю...

– Это Федя! – сказал я отчаянно.

– Сыночек, милый, – узнала и она, – как ты там хоть?

– Мам... Аппендицит у меня короче. Операция.

В этот момент деловито вошла мужиковатая медсестра:

– Снимай штаны.

Я торопливо разоблачился, осторожно, чтобы не снести зонд, удержал телефон возле уха.

– Так... ну что же, Федюш, – мама говорила спокойно, как будто не удивилась, интонацией, которую я всегда любил. – Ты, главное, не волнуйся, всё будет хорошо. Совершенно не волнуйся. Если что надо будет: лекарства там, или деньги, ты позвони, ты не волнуйся.

Связь прерывалась, заикалась. Медсестра нервно втирала спирт, будто хотела содрать мне кожу. Потом уколола, и ушла.

– Я нормально... – сказал я в трубку, уже не слушая.

– Целую, сынок ты мой хороший... – донеслось оттуда, и экран погас.

Я вылез с болтающимся зондом в коридор, добрал до своей палаты.

Резко стал сдирать с себя свитер и футболку, вместе, разом, будто

ополоумев, но ворот был узкий, я поневоле теребил у самого пластыря хлипкую конструкцию в носу, рискуя её выдрать совсем.

Непослушными руками отслаивал свитер, стал снимать сначала его, дергал за рукава. Но зонд, как нос навравшего Пиноккио, слишком торчал вперед. Я беспомощно опустил руки, пытаюсь сквозь невыносимую боль разгадать этот идиотский ребус, но снова поневоле сламывал на сторону зонд.

Дядя Саша наблюдал за мной, и вдруг нетерпеливо выволокся из простыни.

– Неет, Федя, – он остановил меня. – Ты не суетись. Это сюда... – Фомин просунул мой локоть обратно, пытаюсь совладать с навешанным на меня аппаратом, вдумчиво подтянул до макушки горловину свитера. – Оот, голову приподними... Это сюда... – и он выволок майку и бережно освободил сам свитер, ничего не задев.

Подержал в руках сброшенную мной шкуру.

– Запомни, что Фомин тебе говорил. Никогда не надо торопиться.

Не то, чтобы особая мудрость. Но желтые глаза дяди Саши смотрели устало и легко. Говорил он неторопливо, будто подтверждая свою максиму, и всё вокруг стало как-то более приемлемо.

Я снова засуетился, снял штаны. Из них, разумеется, посыпались монеты. Я махнул рукой. Крепкая санитарка, появившись в проеме, вздохнула и крикнула, как Иерихонская труба:

– Всё здесь бросай, шлепанцы, все! Кидай! Некогда.

Я посмотрел на еду, и сказал:

– Хотите, возьмите себе...

– Что это? – недоуменно осмотрелась она. – А, ну да, это всё тебе не понадобится, сразу говорю, – она, не поблагодарив, выбрала из еды для себя интересное, унесла бутылки и упаковки.

Я мелькнул в зеркале умывальника – с синим зондом в ноздре. Когда я раньше видел людей с такими причиндалами в новостях или фильмах, всегда подсознательно думал, что человек с зондом уже не совсем человек. Это значит, безвозвратно измениться, стать представителем особой касты, превратиться в гуманоида. А теперь у меня был зонд, и я болтался в неизвестности, как в невесомости, даже не зная, на кой он нужен.

Но не успел я всё это осмыслить, как в дверь заглянул плечистый дядька в зеленой распашонке.

– Здесь с аппендицитом парень?.. – незнакомец вошел, оглядываясь, как коммивояжер, и видимо, тоже от меня чего-то хотел.

Я оглянулся.

– Ты? – мужик в зеленой рубашке моментально сориентировался, и сказал серьезно. – Я твой анестезиолог. Мне надо с тобой познакомиться, и тебя осмотреть.

Я пожал плечами.

– Разговорчик к тебе есть... Пойдем, поищем, где удобно.

– Хорошо... – сказал я, не ожидая ничего хорошего, а он уже увлек меня из палаты, будто поддерживал тяжелобольного. Мужик в шапочке, с неправильными, какими-то задиристыми чертами лица и рыжеватой, клочкастой бородой, он всё вел и вел меня, подхватив под плечо, хотя был приземистее, и оттого будто прижимал к полу.

– Здесь нам никто не помешает? – он с силой приоткрыл дверь все той же процедурной, и также плотно закрыл вслед за мной. Я стоял с этим мужиком тет-а-тет, впритирку. Между нами был только зонд.

– Тебя как зовут? Фамилию-то я твою знаю...

– Федор.

– Федя? Отличное имя. Общий наркоз – знаешь что такое?

Я с готовностью закивал. Он со мной так вежлив, хоть что-то объясняет.

Он продолжил:

– Никогда раньше не резали? В смысле... С сердцем у тебя как?

– Да обычно, вроде...

– Ну, вот и молодец. Мне очень важно кое-что узнать.

Анестезиолог почесал пухлую, оволоселую руку с часами, и сдвинул разноуровневые брови:

– Понимаешь... – он набрал в легкие воздух, по-мужицки вздохнул крепким телом, и заговорил ладно, заученно. – Ситуация, скажу тебе прямо, у тебя аховая. И я могу предложить тебе два наркоза, Фёдор. Первый – обычный, бесплатный, – он прокашлялся. – А есть мой наркоз, *мой*, личный, понимаешь?

– Ясно, – догадался я. – Платный, что ли?

– Но стоит он немного. Тысячу рублей.

Теперь анестезиолог был похож на купца, продающего шелка или волшебные персидские кувшины. Но вдруг насторожился.

– Только это, – и лицо нервно искажилось, – мы решаем между собой, ты и я, понял?

Человек, с которым мы были знакомы две минуты, говорил о доверии, болтая рукой от моей к его груди.

– Это я тебе делаю, лично тебе, за денежку. Но могу и бесплатно, понял? – и рука упала. – Давай, решай.

– А разница есть?

Сорокалетний, плотный мужик приблизился ко мне, будто на исповеди, но и ухмыльнулся.

– Разница? Стандартную провести – сразу говорю, могут быть осложнения. Долгий отходняк, понос, дизаурия, тахикардия, слюнотечение, тошнота, одышка, угнетение дыхательного центра...

Я закивал, мол, понял, понял.

– Разница? – он как будто подловил меня. – Тут всё бывает, Федор. Это на твое усмотрение. Я тебе предложил ва-ри-ан-ты.

В дверь заглянули.

– Все, идем, идем, – сказал он громко и с готовностью.

– Подождите. Наверное, ваш... возьму, – мудро размыслил я. – Но у меня же при себе нету... – я потер пальцами.

– Это не важно, можно завтра.

– Мне бы посоветоваться. С мамой.

– Мама так мама, – он помрачнел, но предвидел этот сценарий. – Консультируйся.

Торговец наркозом открыл дверь и выпрыгнул резко, будто был на пружине:

– Зайду через пять минут.

Я опять нашел в мобильнике номер, обозначенный как «Дом». Зонд свербил в горле, как если бы туда напихали сухих макарон.

– Мамуль, – сказал я, утирая лоб, – тут анестезиолог... Говорит, у него есть наркоз хороший, стоит тыщу рублей. Но это как бы левый наркоз, но, вроде...

В процедурную вошла санитарка. Я нелепо понизил голос, как конспиратор.

– А обычный – он, вроде, потяжелее, что ли... Я не знаю, мам. Но отдать можно завтра.

– Ну, о чем ты говоришь!.. мы с папой будем, принесем...

Санитарка резко дернула меня за штаны, будто я манекен, и сказала: «Прекращай».

– Всё будет хорошо... – раздалось в телефоне.

– Да, – сказал я и нажал «отбой».

– Блин! – вдруг закричала санитарка, развернув меня и резко сдернув трусы.

– Ты почему, блин, не подбрился до сих пор?

Она процокала по кафелю, достала откуда-то безопасную бритву, клацнула ею о ванну.

– Быстреей давай! – железный холодный голос незнакомой мне тетки опять перешел на крик. Она не выговаривала «р». Лицо было плосковатое, как будто без переносицы, и она напряженно сжала руки, как доярка со стажем. – Раздевайся, тебя повезут сейчас, у тебя ничего не готово. Волосы на лобке, на животе, подчистую!..

Горячая бритва, от которой разило карболкой, плавала рядом с обмылком в коробочке. Я вяло потрогал пальцем лезвие, стал царапать им живот. Бритва была сильно проржавлена на концах.

Руки не слушались, я бессильно шурудил лезвием по пузу. Такой штукой побриться – нереально. Весь трясся мелкой дрожью от боли. Скоблил, скоблил. Ничего не получалось: ржавая тупая бритва!

– Я... прошу прощения, – спросил я. – А точно... будет операция?

– Да точно, блин, быстрее давай, что ты тормозишь, – гаркнула она, вынимая из шкафа белье.

– Не получается, – признался я. – Бритва какая-то...

– Ногмальная бритва! – настаивающе сказала она, отняла у меня бритву, схватив за мелкую рукоять. – Ой, безрукие...

– У меня самочувствие не очень, плоховато, понимаете, живот болит...

– Здесь у всех чего-нибудь болит. Чё ты скривился, думаешь, я в темноте увижу? – уже спокойно сказала она, и стала резко, как вычёсывают скребком лошадь, брить живот и лобок, прицокивая от досады.

Жесткими движениями сдирала волосы. Я боялся, что она меня порежет, но она все быстро сделала, не очень подробно, для галочки.

– В душ.

Я забрался в квадратную ванну, быстро облил ноги и живот тонкой струей теплой воды, едва журчащей сквозь старый, забившийся душ. Санитарка бросила мне полотенце. Плеснув из пузырька на клочок ваты, она спешно растерла спирт по пузу.

– Повернись, – и обтерла мне руки с внутренней стороны локтей. – Простыней обмотайся, и в палату.

Когда она ушла, грохнув дверью так, что содрогнулся стеклянный шкаф, я вытерся, и хотел было сесть. Но, одумавшись, спустился вниз, собрал ногой лежавшие на полу мелкие волоски в маленькую кучку. Укутавшись простыней, голый, я вышел из процедурной и поканал, куда велено. Для каждого шага нужны были непомерные мозговые усилия. В ушах, по мере приближения самолета, возрастает шум до разрыва перепонки. Такова боль, когда она невыносима.

Оставил мобильник на тумбочке. Дядя Саша и Миша безмолвно наблюдали. Я почувствовал, что на меня смотрят, как на мумию.

И вдруг Фомин сказал:

– Ты за вещи не беспокойся.

Я кивнул, дрожа.

Он выкатил ядовито-желтые глаза и добавил:

– Запомни. Ничего не бойся, Федор. Понял? Ничего не бойся.

И оба они оглянулись на вход.

Я запоздало обернулся, услышав грохот, и только теперь тоже увидел. В коридоре две женщины в белом разворачивали – видимо, для меня – передвижную кровать на шарнирных, тонких колесиках, и резко втолкнули её в дверь.

Что ж так разогнались-то. Потолок проносился, как будто разметка на взлетной полосе. Сейчас, того и гляди, слечу на повороте, рухну с разгону...

Надо мной, лежащим на тележке, склонялись сестра и санитарка, та самая, что меня подбривала. Она оказалась очень крепкой, двужильной, и именно она в основном везла каталку, придерживая её за специальную рукоять. Шуршали бахилы.

Как-то неловко, что катят женщины. Вдруг сбоку возник ещё и мужик в маске. Я не сразу узнал рыжую бороду и подбородок анестезиолога. Он усиленно помогал катить, и одновременно, склонившись, почти ласково – так, что ощущалось тепло его дыхания – шепнул мне:

– Ну, что надумал, Федор?

– Я согласен...

– Значит, – сказал он, поднимая глаза вверх, будто переживал атаку, – денежку ты мне потом отдашь, и будет тебе хороший наркоз...

– Да, да, – сказал я, не глядя на него.

– Уговор есть уговор.

И он оставил тележку.

Я расслышал, как медсестра негромко спросила у старшей возле самых дверей:

– Слушайте, мы его вперед ногами...

Старшая скептически отмахнулась, как от назойливой мухи:

– Некогда.

Анестезиолог, пока мы остановились, ожидая лифт, протянул мне бумагу и сказал:

– Вот здесь распишись, – и сунул в пальцы ручку.

Повеяло холодом из шахты, почти незаметно, но каменно. Я поставил подпись и отдал перо.

Меня развернули, и втаскивали головой вперед, будто я – стенобитное орудие. Абсурд: голый парень, лежащий в лифте, как на постели, полузавернутый в простыню, который не знает, куда его везут, и молчаливые тетки вокруг, которые везут его куда-то...

Так вот почему лифты здесь такие просторные. Я – на каталке – как раз вписываюсь в формат. Медсестра положила руки на край лежанки, не замечая, что касается моих обветренных, сухих пяток. Я подумал: убрать или не убрать ноги. Решил не двигаться. Анестезиолог ехал с нами отстраненно, непроницаемо, заложив руки за спину, отклонившись к блестящей металлической стене.

Отче наш...

Сверху на меня упал ослепительный свет из шахты, из щели между

стеной и лифтом, и опять каталка ровно, разгоняясь, скользила по линолеуму. Накатывала тоска, я цеплялся за мелочи вокруг, которые каждую секунду сменялись. Хватался за детали, но не мог их осмыслить, думать масштабно, хотя бы в пределах минуты. А боль, казалось, опять смазалась. Боли-то нету! Неужели будут зря оперировать? Или просто подействовал укол?

Мы въехали на порог просторного зала возле входа. Морщина подбородок, я увидел уплывшую вбок световую надпись: «Реанимация». По сторонам, словно гребцы, переговаривались люди в масках. Это безличие пугало. Только глаза. Я молчал. А они всё перешептывались, но я не понял ни слова.

Остановились.

– Пойду спрошу... – сказала одна.

– Лиза! Красная черта, – предупредила старшая менторским тоном. – Жди.

Я покосился вбок. Но ничего не разглядел.

Ожидание затягивалось. За последним порогом, в кафельном зале был свет, синий, яркий, неестественный, как если нырнуть в бассейн и посмотреть наверх сквозь толщу воды. От такого света было жарко и холодно разом.

Старшая выволокла из-под меня простынь, я оказался совсем голый.

– Перекладывайся.

И я увидел рядом такую же железную каталку.

– Спасибо, – сказал я, придерживая зонд, прощупывая шершавый пластырь на переносице.

Перелез, стараясь не светить чреслами. Прежняя телега откатилась и слегка ударилась в угол двери, как вагонетка в кино.

– Правильно, – сказала ещё одна безликая женщина, только видны были утомленные узковатые глаза. – Вот умничка.

И на новой каталке меня подвезли в середину просторного зала, к столу.

– Что мне делать? – напряженно спросил я. – Опять перекладываться?

– А ты как думал...

Операционная наполнилась беспорядочными, отрывистыми разговорами, будто мы оказались на кухне огромного ресторана, где клубится пар и варятся десятки блюд. Стараясь не оглядываться, я перекувыркнулся на твердый стол, покачнув каталку, закрывая рукой по-детски бритый лобок. На полу я заметил кучу проводов, толстых, тонких, ветвистых, как корни деревьев в лесу. Последняя каталка завибрировала, загрохотала, отдаляясь.

Женщина в маске накрыла меня чистой простыней с квадратными складками. Прежние люди куда-то исчезли. Не вижу ни одного знакомого профиля. Хоть бы анестезиолога повидать, его шерстяное неправильное лицо...

Слышался то и дело беспорядочный, гулкий смех, источник которого был непонятен.

– Добрый! – вдруг различимо сказал кто-то в этом хаосе, и

послышался армянский акцент веселого врача. Я узнал его по широкому животу, выступающему из-за пижамы. Теперь он был в маске и шапочке.

– Я – Арутюн Александрович, – глаза были голубыми, и грудная клетка – полной, певучей, будто он в самом деле был мне рад. – Ты ведь знаешь, у тебя аппендицит. Сильно запущенный. Ты уснешь, мы поработаем, проснешься, и ничего уже не будет...

– ...болеть, – поспешила добавить женщина, которая сидела за столом, накрытым салфеткой, возле решетчатого окна, и засмеялась грудным хохотком.

– Ладно, – сказал я безнадежно.

На меня изнемогающе обрушился свет, яркий, будто я возле рамп. Прямо в упор светила огромная лампа, массивная, как люстра в Большом. Гроздь перспелого света рушились на сетчатку. Я отвернулся, и меня опять обступила неуютная кафельная синева.

– У Светки вчера день рождения был, – заговорила помощница хирурга, мужиковатая, в повязке, вдруг появившись рядом, и стала зачем-то обвязывать мне ноги жгутами возле бедер и щиколоток. – Представляешь, вчера кладут бабцу лет под восемьдесят, с вагоном сопутствующих, с животом как, не знаю, гора, охами, ахами непрерывными. Полдюжины херунов вокруг. Светка пытается венку начать. А у бабки короче рвота... И все это на Светку. День рожденья, грустный праздник. Надо ей хоть торт подарить ради приличия... Коллеги... Она в четверг теперь? – и она посмотрела из-под повязки. – А то ведь обидится, – и снова зыркнула на хирурга.

– Потом.

Врачи двоились, всё путалось, я вцеплялся в их разговоры, вслушивался в шутки, но ничего не мог толком понять. Доктор что-то ответил, опять был гулкий хаос, теперь уже, кажется, ржали все, и в соседнем помещении, за стеклами ржали.

Я вспомнил картинку из детской книжки «Расти здоровым», где изображена операционная. Но тут все иначе, сумбурней. Соберись! Или, наоборот, расслабься...

Что делать?

Сбоку, на столе железно торчали какие-то ножницы, зажимы, витиеватые орудия. В зобу кололась трубка. От утомления кружилась голова.

– Четверочка заканчивается... – сказал Арутюн добродушно, что-то там констатируя. – Старшутке этой новой надо бы поручить, чтоб сгоняла на рынок и прикупила бобинку четвёрочки касимовской у рыбачков. А то заканчивается, знаете ли...

Глаза его иронически блестели. Я с испугом всматривался в Арутюна. Но свет падал и оглушал.

– А чё так далеко? – сказал другой. – Вон, на Центральный пруд, там

чемпионаты по рыбной ловле. У мужиков поспрашивает пусть.

– Мы так скоро грыжи вылавливать будем... Где мой спиннинг? – продолжил кто-то.

Уж не прикалываются ли они надо мной? Ладно, лучше погрузиться в себя. Помолиться. Тут только заметил, что мои губы уже давно шевелились.

Врачиха ставит мне какие-то присоски возле титек. Что-то пищит монотонно, рядом, под ухом. Я воздвиг перед собой стену, и любое торможение воспринимал как нарушение личного пространства.

Богородице...

Безвольные руки положили на ложбинки слева и справа.

Ещё один рыжий резиновый жгут обвязали возле плеча.

– Поработай кулачком.

Остатками памяти, как это обычно делалось перед уколами в школе, я принял волевое решение и сжал, и разжал кисть несколько раз.

– Клади руку.

Наконец, я воспринял анестезиолога, по голосу узнал его. Мы таили сговор, но он не смотрел мне в глаза, теперь я был для него будто вещь. Он возился с моей рукой, ввинчивая мне под кожу тонкий катетер, который сразу зачесался, и облепил его пластырями вокруг.

– Зажимай кулак, – и произнес погромче, держа наготове шприц. – Вливаем.

Что-то горячее заплесало, забилося внутри, в вене, в сердце.

– Два-два... – сказал он мужиковатой.

Не буду слушать. В дальних углах по-прежнему слышались окрики, будто готовят картофель фри. Я молился про себя, пока мне надевали на голову гофрированную шапку, как у теток, вышедших из душевой. Под голову сунули какую-то подушку вроде думки.

Рука от вставленной в неё фитюли чесалась, но потереть уже было нельзя – привязали. Анестезиолог спокойно, мерно сопел в повязку. Я тоже прерывисто дышал.

Пищали аппараты. Но я был в сознании и вроде дееспособен.

Вдруг он взял в руки маску, похожую на вантуз, от которой тянулся, как от пылесоса, толстый рифленый провод.

Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Понеслась. Раньше я хорохорился, но теперь ничего не осталось. Нет тыла. Я и моя маска.

– Дыхание не задерживать? – спросил я, желая продлить бодрствование, спросить последнее, хоть последнее что-нибудь.

Он уже нахлобучил на меня намордник, но недовольно отнял его:

– Чего?

– Дышать, как обычно, да?

– Дыши утренним воздушком, – сказал он победительно. – Считай с десяти до одного.

Я покорно закивал, стал дышать.

Только запах кислорода и резиновой маски. Услышал свой новый кучный вдох. Дышал в мягкую резину.

– Подвздошная – это такая яма, в которую проваливаются все, – вякнул кто-то, но смеха уже не было.

Спаси и сохрани.

– Ты кивай, если слышишь меня...

Я кивал и думал: почему ничего не происходит? Я в здравом уме! Меня зовут Федор! Я люблю Катю! Что написал Толстой? Детство, Отрочество, Юность. Достоевский? Братья Карамазовы, Идиот...

Наркоз этот сраный не действует. Как же заснуть?.. Открыл глаза и в упор увидел косой ворот зеленой размахайки анестезиолога.

Я слышал собственное дыхание, с шумом, похожим на сухой морской прибой. На последнем рубеже мозг вцеплялся за выверенное знание, хватался за стройную, как газетная колонка, информацию. Меня зовут Федор. Я люблю Катю. Её темно-рыжие волосы, её веснушчатое лицо, ключицы и плечи в кефире, покрасневшие от солнца. А ты меня забудешь, если что?..

Клёкот датчиков соответствовал моему сердцу. Сердце ёкало.

Маска лежала на морде. Я лежал на столе. Голубая, водянистая, как медуза, маска, дрожала рифленным хоботом. Её придерживали волосатые руки. Воздух стал посуше – сладкий, горный, необузданный.

– Спишь? Слышишь меня?

Я кивнул.

– Считай, считай...

С одного до десяти. С десяти до одного.

Мерно пищат аппараты. Звук разрастается в назойливую музыку.

Как будто вокруг игровые автоматы. Сто игровых автоматов. Много, целый зал заставлен ими. Бесконечный писк, будто пленка закольцевалась с визжанием. Улюлюкают, пищат аппараты. Зазывают, гремят, плющат, стучат, бьются. Эхо разъезжается, расползается в бесконечность, звуки гуляют, отдельные от меня, басовые, тугие. А я всё не сплю. Все вокруг синее, голубое, стерильное. Только речь, валкий смех гаснет, тлеет, уменьшается, но остались мигающие огоньки и вспышки, ламповые гроздья, фиолетовый огонь, лучи Кирлиана. Я иду на них, они не перестают. Интересно узнать границу, где я себя забуду. Я иду, твержу про себя, как заклинание то, что и так знаю назубок. Имя моё выпало из обоймы, но всплыло последнее, во что верил. Люблю Катю. И куда-то иду.

Игривая, назойливая фраза, пошлая мелодийка зудит комариным

писком. Маленький колокольчик звенит гаденьким звоном. Звуки крепнут, и вот они ревут, у них бесконечное, расплывающееся эхо. Звуки в кривых зеркалах.

Я оглянулся и понял, что это иллюзия движения. И на самом деле я никуда не иду. Я на месте. И бежать некуда. Жизнь оказалась малюсенькой, нечленораздельной, законченной, жалкой. Отдаленный колокольчик разросся до колокола. И давно идет сигнальный, грозный отсчет с одного до десяти, с четырнадцати до одного, с шестнадцати до семи, с девятнадцати до нуля. Я – монада, я не человек, я единица, которая, вопреки собственной смерти, соображает, понимает, что с ней творится что-то непоправимое, страшное, но с этим поделаться ничего нельзя. Засасывает поток турбулентности. Что-то падает, утягивается в черноту. И это что-то – всё ещё я.

Сердце мое отрывали кусками, разодрали с мясом, отбросили в прошлое. Оползает, линяет прежнее, плоть воспоминаний и бед. Саму жизнь отняли, и она проносится и исчезает куда-то, становится игрушечной, сообразить не успеваешь, вагон заваливается на полной скорости под откос.

Вдруг на меня налег стотонный пресс, и стал меня избивать. Как остановить это, кто управляет им? Меня давят, ни за что, за просто так, бесконечно мочат – бьют без конца, за то, что я существую. Кажется: отпустите, печенки отбиты, душа отбита, сейчас оторвется, а она не отрывается, сворачивают шею, а она не сворачивается – все никак, никак, до новых степеней кошмара.

Я понял, что этот отсчет и это избиение будут бесконечными. И колокол этот пожарный, лязгающий – во мне самом. И я его мучительный язык. Засмоленные, черные люди прут на меня. Толпы беженцев – на меня, я вхожу в их толпу. Растут пятиметровые черные лошади. Мы падаем под их копыта. Почему же нельзя умереть? Какое счастье, если бы меня не было.

И я толкаюсь в обступающее меня тугое и убийственное, двигаюсь к выходу, дерусь за то, чтобы погибнуть. Весь стал комком сплошного боя. У меня нет пристанища, дома, улиточной раковины, мне совсем не к кому теперь обратиться – и никогда больше не будет. Я – только боец, только голая душа, неприкрытая телом. Только бы конец. Но миллионы голосов опять ойкают, множатся. Тысячи пудовых сущностей разбивают меня в лепешку, терзают снова. Десять смертей. Одна смерть. Десять новых смертей.

Вот сейчас это повторится опять, несмотря на прошлую гибель: я шмякнусь об себя. Умереть – неисполнимое счастье, отдых из отдыхов, как если бы выключить сломанную, безнадежно нарушенную машину, – но это не могло произойти, это самая страшная трагедия.

И вдруг – словно я прошел через шестеренки, через дорогу вне времени и пространства, я оказался на краю обрыва. На меня пахнуло пропастью, шоком. Внизу простиралась огромная, тягостная долина. Эта местность ныла от неизбывной тоски и гнилого растления. Долина была неподвижна, но от

неё тянуло, как чумой, запахом озабоченного, гудящего смертным сном пространства после жуткого побоища.

По сторонам сутулились ободранные, рухнувшие в черный валежник деревца. А внизу открывалась лощина – я её так про себя назвал потом, сквозь забытие. Суть её – полностью отвечала опустошению и отчаянью, которые шевелились внутри. Я принадлежал ей, был равен ей, сжимаемый сиротством. Хотелось отвернуться, но некуда. Это – мое и от меня теперь неотделимое.

Надо мной висели тяжелые, остановившиеся птицы.

Снова удары, удары. Сколько же можно, Господи! Лучше бы меня не было вообще. Но я теперь буду всегда... Удар ещё сильнее, кто-то зовет. Проклинаю зовущего, ненависть съедает меня.

В этот момент в мозг впечаталась картинка, жутко важное задание, которое надо срочно выполнить: до бесконечности, без остановки сличать два чернильных пятна, два зеленых комка, огромных, гуашевых, расплывшихся на двух сторонах тетрадки, как бывает, когда приложишь листок со свежей краской к другому, и на обоих остается одинаковый отпечаток. Два невнятных, похожих на кленовые листья, рисунка. Разгадаю смысл – всё пойму. В них секрет *все*го *вообще*. Сосредоточься, и всё станет ясно. Но мешают удары по голове, как стая кусачих пчел.

Да отъе..итесь вы от меня. Брыкаюсь. Нет, зовут. Стучат по башке, по лицу. Хочется плакать от обиды, драться, убить.

– Как тебя зовут?

Дайте сосредоточиться! Рот полон клейкого, не разлепить. Надо отозваться, только чтобы больше не били.

– Как зовут тебя?

Слышен издевательский голос смеющейся бабы. Зачем-то поворачивают, переваливают на бок. Хочу заорать, но получается слюнявая каша во рту, полукрик, полустон онемелого рта.

– Как зовут тебя?

– Фё-дор... – выговорил из последних сил.

– Глаза открой и скажи: ааа, я рот тебе прочищу...

Как будто из воды выбросило волной на землю, но ты долбишься о камень, все ещё пытаешься грести. А руки привязаны.

Я зло завыл сквозь слюни, что-то осознавая:

– А-а-а...

– Как себя чувствуешь?

– Плохо, – гугниво, как немой, обретший речь, я услышал свой собственный стон.

И окончательно понял: Федор – это я. И у меня есть рука. Нога. Другая. Две. Я разлепил глаза, в носу засвербило. В этот момент я увидел, что от палки,

которая изнутри щекочет горло, а теперь выползает из ноздри, вытягивалась неправдоподобно длинная белая сопля, сильно и кисло воняла. Трубку вынули. Снова бело светили плафоны. Снова вокруг все было синим.

Опять слышалась болтовня. Я чувствовал, как на щеках высыхают слезы.

Врачи вокруг были веселы. Я же – подавлен. Врачиха бодро сказала, посмотрев на часы:

– Ноль двадцать семь.

Я смутно узнал Арутюна. Спросил изможденно – о самом главном:

– Что *там* было?

А он устало ответил о своем:

– Гангренозный аппендикс, некротизированные ткани, – проговорил почти задиристо, игриво позвякивая какой-то железкой. – Плохо было. Показывать, – он глянул на меня сострадательно, – не будем. И пахнет неприятно.

– А нечего показывать, – сказал какой-то юморист позади меня. – Он потом сам, с какашками выйдет. Щютка.

– Спасибо... Не надо... – мямлил я, отчаявшись что-либо узнать, еле ворочая языком. – Спасибо...

Пищал аппарат возле уха, убаюкивал. Хотелось в тень, было утомительно светло. Повернул голову. За стеклянной стеной кто-то лежал на столе. И над ним стояли хирурги. Хотя мозги будто отсижены, до того пусто, до того серо и спутанно в голове, но боли нет. Удивляться нет сил. Всё сознание занимало то, где я побывал.

Мне освободили руки. Я сладостно почесал возле катетера.

Глянул на свое голое тело. Справа от члена — трубка, торчащая прямо из пуза, накрепко залепленная пластырем; большой лепешкой – бинты, скрывающие йодовую мазню.

Потрогал непослушными затекшими руками пустой, без зонда, нос.

Но врачи, видно, торопились.

Санитарка подкатила каталку к моим ногам, перпендикулярно столу.

– Что, опять?.. – сказал я, не веря, что надо перелезть.

– Потихонечку.

Это расстояние непреодолимо. Как будто пробежал двадцать километров без передышки – а теперь, говорят, надо пробежать столько же.

По миллиметру, передвигая тазом, безо всякой надежды на успех я поставил ноги на каталку. Телега неустойчиво поехала вбок.

– Тиш-тиш-тиш, – сказал Арутюн, и заботливо приподнял меня под руки. Санитарка подхватила под голую попу и ноги, а другая, тоже в шапочке и в очках, обняла за колени. – Не наклоняйся, понял, – медленно, мягко, с акцентом сказал Арутюн. – Привыкай... у тебя швы...

Я по миллиметру перемещался на каталку, как жук, упавший на спину.

– Упирайся рукой вот сюда! – утомленно сказала санитарка. – Мы держим.

Я остервенело, как тормоз, упёрся локтями в стол. Арутюн подал мне руку. Я собрал последнюю злость и перевалился на каталку, упал на неё плоско, как блин.

– Всего делов, – негромко сказала мужиковатая.

– Смотри, придержи своё добро. С этим осторожно, – инструктировал Арутюн, и положил рядом со мной пластиковый мешок, похожий на пакет из подо льда.

– Это зачем? – спросил я.

– Дренаж.

Дренаж – это ведь на газоне...

– Жидкость из раны будет в нём собираться, а не у тебя в животике, – пояснил Арутюн, будто отвечая на мои мысли.

Безвольно тряслась голова. Мерцал наверху, отдаваясь, светильник с надписью «*Реанимация*». Тело коченело, напрягалось. Только б лежать, и чтобы никто не трогал, не качалась голова с памятью о пережитом. Я впервые увидел себя по-настоящему голым, без тела. Закрыв глаза, задремал, на две минуты отключился.

Судя по спертому запаху лекарств, меня завозили в палату. Возле койки я смутно узнал нашу Улыбчивую. Мою каталку снова волокли две женщины. Фомин не спал, и смотрел в темноту.

Опять перелезть?! Койка сильно ниже, разве что спрыгнуть на неё можно, упершись руками. И куда деть мешок?

Я чувствовал, что лицо у меня, как у Пьеро, но не мог удержать нормальную мину. Зная о том, что при всем желании не получится – я попытался привстать, напрягая живот.

– Не так! – гневно сказала Улыбчивая, оставшись без помощниц. – Сам, – сказала она, как заклинание.

Я спустил одну ногу. Простыня была ломкой, жгуче-холодной, будто мрамор.

– Хорошо, а теперь вторую.

Я спустил вторую ногу, негнущуюся, словно костыль. Улыбчивая подхватила меня под руки, и я тут же обвалился на неё:

– Стой, – сказала она строго. – Я тебя не удержу!

– Ладно... – сказал я вяло, вернувшись в исходное положение.

Ум, словно двигая валуны, решал только близкие задачи в заново обрушившейся на меня реальности. Наконец, я свесил плечо и принял на него вес кушетки.

Но это всё было не важно. Единственно важно было то, что я помнил: два пятна на обеих сторонах листа, цвета болотной зеленцы, одинаковые, но

разделенные. Новая карта мира, универсальный ключ. Главное – не забыть, и я найду отгадку всему на свете. Правда, на глазах исчезало, тускнело это впечатление, будто вода на пропаленном солнцем песке.

– Повыше сделать? – медсестра регулировала высоту изголовья. – Совсем опустить не могу, так оставляю.

– Отлично, – бормотал я.

Меня чуть тронуло это «повыше-пониже». Но вообще-то было все равно. Хотя и теперь хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом. Пациент скорее жив, чем мертв.

– Только ты не спи пока, – сказала медсестра впроброс.

– Почему? – помрачнел я, и внезапно готов был заплакать.

Я боялся её ответа, потому что любая новость, скорее всего, будет означать новые муки.

– Нельзя. Надо следить за дыханием. Голову держи вбок. Носом не клюй.

– Зачем!? – сказал я шепотом, не в силах скрыть злобу.

– Чтобы не захлебнуться собственной рвотой, – сказала она напрямик.

Серый, дремотный, гризайлевый мир выкатился на меня. Улыбчивая собралась уходить. От неё не было отдачи. Бесплатность. Молчание.

– А если... захочу пописать?

– Вот тебе сосуд для мочи, – она ткнула изящной, маленькой туфлей в сторону похожей на бак канистры с крышечкой, которую я узнал скорее по звуку, чем по очертаниям.

– Самому, что ли? – я посмотрел на неё тупо.

– Приучайся. И откашливайся вот так: кхе-кхе.

Она поволокла за собой пустую каталку.

Койки Миши и Фомина были погружены в тень. Руки щупали всё заново. Я включил мобилу и увидел пропущенные вызовы. Узнал открытый йогурт. Узнал пакет сока.

Воздух, как сырость в погребе, уплотнялся, давил на грудь. Я взял бак, поставил ко рту. Навалилась легкая тошнота. Густо сплюнул в канистру, запомнил вяхлый пластмассовый запах её нутра.

Задремал. Сквозь запретный сон думал, что, увы, забываю про эти великие пятна. Возвращалось тело – с чувством сотни шероховатостей, мелких камешков, шума. Мешковатое, несимметричное, неповоротливое. Все предметы казались преувеличено-огромны: простынь, накинутая на голый живот, подушка, которая натирает шею, дренаж, торчащий из разинутой дыры. Мир оживал, я обвыкался в нем.

Фомин бессмысленно оглянулся в полусне:

– Я, наверно, храплю? Мишка ещё... – дядя Саша хотел что-то добавить, но осторожно повернулся, помня о собственном мешке, проминая скрипку

кушетку, и снова зарылся в сон с головой.

Миша лежал, подоткнувшись своей подушкой, и спал внимательно, чутко. Около двери горела пара совиных глаз, два прожектора, будто наша палата была каютой корабля. Из низа живота свисал мой мешок, на поверхности которого угадывались строчки китайских иероглифов.

Я, стараясь не уснуть, изучал их сквозь тяжелеющие веки в лунном мерцании из окна.

29 октября.

Среда

1

Все фиолетово, как это утро. Чувства ампутированы. Мутит, будто я сутки ехал на автобусе незнамо куда.

Пить.

Я потянулся к соку, стоявшему на тумбочке, остервенело вскрыл пакет, омочил шершавые губы. Глотал, глотал. Вдруг опомнился: а вдруг нельзя? Затаился. Застыл.

Стал приподниматься на локтях. Живот камнем придавливал к постели. И тут я увидел, что за мной наблюдает Фомин, подложив голый локоть под щеку, глядя на меня ядовито-желтыми, набрякшими, как у древнего египтянина, веками.

– Федор, что?

– В туалет хочу...

Он посмотрел отсутствующим взором в окно, досматривая сон. Не сразу попал ногами в тапки. Колени торчали в разные стороны. Дядя Саша вышел, неся впереди одутловатый живот. В эхе коридора раздались его шарканья, теряясь в углах и стенах.

Я вдруг осознал, насколько он слаб. В душе пронеслась тень стыда.

Через минуту появилась заспанная медсестра. Тут только я понял, что совсем голый. Но никаких комплексов у меня не осталось. Хоть по коридору беги. Если б я мог бежать.

– Мне бы в туалет, – прошептал я.

– Ну, и давай, – громко ответила она, непричесанная, хмурая. – Ваза под кроватью.

– Не могу, – сказал я упрямо.

– А ты попробуй!

И она ушла. Я цыкнул языком, желая сплюнуть неестественно-сухую

слюну.

Фомин вдумчиво надел тельняху. Я пошарил под кроватью онемелой рукой, чтобы схватить пустую узкогорлую канистру, но та с грохотом завалилась вглубь. Все, что мне осталось – безвольно болтать по воздуху пальцами.

Дядя Саша, ни слова не говоря, медленно присел на корточки, достал из-под кушетки мой бак и сунул мне.

Он тактично отвернулся. Я продумывал, как пописать, и при этом не обмочиться. Неосторожно подтянул дренаж. Меня пронизала такая боль, будто нервные окончания кто-то трогал руками. Поспешно вернул мешок вниз. Потихоньку свесился с кушетки, поднес канистру к члену. Баклага задребезжала. Я удачно балансировал, как акробат, на краю кровати. Наконец поставил на пол потяжелевшую тару и отвалился назад, тяжело дыша.

Выпил ещё сока, персиковый, он так приятно бархатил горло. А я все думал о двух чернильных лягушках. Еле удержался, чтоб не засмеяться. А эта впадина, где пахло мертвечиной?..

Словами – выходит бледно, никому не расскажешь. И это-то смешней всего.

Я стал задремывать, но тут медсестра вернулась – волосы уже схвачены в хвост – и опять то ли ровно, то ли гневно улыбалась. Включила верхний свет, и пронзительно возвестила:

– Встаем!

На специальную тарелочку отщелкнула две таблетки и горошину, пояснив:

– Снотворное, – и закричала. – Инъекции!..

Мучительным разворотом я перелег на бок. Она уколола быстро, двумя хлопками. И разлилось по телу выстраданное тепло.

– У меня просьба, – промолвил я. – Вынесите, пожалуйста...

– Что?

– Ну... – я опустил глаза вниз. – Судно...

– Пора самому уже. Не маленький, – она, не глядя мне в глаза, снова надела безучастную улыбку, и всё-таки вынесла «сосуд».

В окне за шторами зашумело шоссе. Но его не было видно. На стекле вился похожий на пятна, причудливый узор изо льда.

2

Дядя Саша брился и разглядывал в зеркало свое лицо.

– Миша, – слышался его хриплый голос. – Глянь. Вроде, спала желтизна-то?

Тот на секунду прищурился, лежа на кушетке, приняв свою излюбленную вакхическую позу.

– Нет, – усомнился Миша. – Лысина желтая вся. А живот, а вот эти места?.. – он похлопал себя по плечам, будто чем-то доволен. – Дядь Саш, а ведь ты ещё

не старый, так? – бесхитростно спросил он. – Ты какого гхода?

– С сорок пятого я. Старый уж хрен, – ответил Фомин и оторвался от зеркала.

Он стоял, прислушиваясь к неясному гулу. По коридору, судя по приближающемуся рокоту голосов, надвигалась толпа.

– Хан идет! – шепнул Миша, одернул футболку с растянутым воротом, свернул в бумагу остатки недоеденной курицы и привстал.

Вдруг дверь резко открылась, чуть не оттолкнув дядю Сашу, и в дверном проеме появилось сразу с десятков белых и зеленых халатов, деловитых, торопливых.

Впереди властно двигался господин в черной рубаше и крахмально-белом облачении. Голова у него была маленькая, с узкими глазами, а лицо непроницаемое, как раковина с моллюском. За ним вошел знакомый мне Ординатор с вальяжным видом; доктор-самбист, отчитавший меня когда-то, наша Улыбчивая, двое молодых парней-практикантов, юная девушка, что теребила рукав своего халатика и будто пряталась за остальными.

Они быстро обступили кушетки, заняли всё свободное пространство.

– Почему не готовы к осмотру? Сразу задирайте, у кого что болит, – угрюмо и быстро промолвил Хан, и лицо заранее потемнело от необходимости слушать.

Улыбчивая дала мне, Фомину и Мише по градуснику и скрестила руки за спиной. Первым Хан приблизился к Мише, высоко держа голову с жестким бобриком. Он уперся подбородком в грудь, словно прислушивался к своим внутренним процессам или почти уснул. Доставая нужные бумаги из зажима на планшете, промолвил:

– Как дела у вас?

– Все у меня хорошо, – ответил Миша, сделал серьезное лицо и потёр щетинистые щеки.

– Хорошо быть не может, если вы *здесь*, – обрубил Хан, задвигая изогнутыми, властными губами. – Правильно говорить «терпимо».

Миша посмотрел на него без эмоций:

– Был гхастрит. Приступы, – он махнул пальцем. – Спасибо вылечили. Все анализы посдавал, все в норме, моча в норме. У меня рейс послезавтра, я ж в дальное, мне тут вылеживать незачем, – и он неожиданно-жестко улыбнулся.

– Обсудим, – сказал Хан. – Сейчас в четвереста восьмую, попросите анализы... Вы? – обратился он к Фомину. – На процедуры ходите? Покажите дренаж.

Дядя Саша с готовностью привстал:

– ...Только скажите мне, прогнозы-то какие? – бормотал он, но вчерашнего гнева и раздражения как не бывало. – Третью неделю на койке. Сил нету. А то вы убегаете, а я...

Фомина обступили. Он медленно разделся. Без стыда показал катетер с

трубкой, торчащий из раздутого члена.

– Вижу, – сказал, не глядя, Хан и пролистал бумаги брюшком пальца.

– По-большому четыре дня не ходил... – негромко сообщил Фомин.

– Что ж вы! Медсестру потеряйте. Она вас поклизмит...

Я изучал выщербину на стене. Щекастый практикант в очках смотрел на меня, будто на памятник. Другой, изнуренный дежурством, кажется, думал совсем о своем. У практикантки было уважительное личико, но и она слушала исподлобья, словно решая, оставаться ей или удирать.

– Ермошин, – вдруг обратился ко мне заведующим, и назидательно повернулся к молодежи. – Выходили из Волковича при гангренозном аппендику, с хорошим перитонитом. Открой это самое...

Он бережно потер руки, будто умывая их. Я раскрыл простынь. Все, что перевертывало душу вверх дном, все, что я пережил за двое суток, укладывалось на нескольких листках в папке Хана. Он тронул бинты, сморгнул узкими глазами и вернул на место мокроватую тряпку.

– Перевязаться обязательно...

– Там, где дренаж, болит очень... – признался я.

Хан вытянул чистую салфетку из пачки, вытер руки, бросил её в железный совок:

– Тут у всех что-нибудь... Ты хоть ходишь? – его голос словно пробивался через радиопомехи. От одежды доносился приятный запах крахмала и тихого табака. – По-большому ходишь?

– Нет...

– Диету-нулевочку выдерживай. Надо, Федя, надо, – он оглянулся с довольным видом.

Ребята смотрели безмолвно.

– Соберите термометры, – бросил он медсестре, и направился к двери.

Вдруг осанисто повернулся сероватым лицом к Фомину.

– Фотин, – Хан почти припомнил фамилию, и лицо на секунду прояснело, – вы не беспокойтесь. Поверьте, мы знаем, что нужно, даже лучше, чем вы.

И бесповоротно вышел, за ним другие. Только слышались обрывки реплик, которые Хан вкрадчиво цедил, кого-то отчитывая:

– А ты стоишь, зеваешь... Ну, кому ты будешь рассказывать... Я видел, как ты зевнул... Цвет лица – канареечный, землистый. Живот выпирает. Видел, нет? Это же классика жанра... «Телепузик» называется... – голос становился всё глуше. – За хирургами бегать надо, ловить каждый взгляд, каждый вздох... Ничего ты не видел...

Медленный, вязкий голос Хана утих: процессия переместилась в очередную дверь.

Фомин прислушивался к словам, вид у него был таинственно-жалкий.

Он сидел на кушетке, упершись в колени и приподняв плечи. Потом взял баллон воды, долго и громко пил, поставив ноги поверх тапок.

За окном гудела далекая сирена или сигнализация, протяжно, гулко.

Но это было там, за окном.

3

– Сыночек, ну как ты? – сказала мама, стоя на пороге с тяжкими пакетами в руках.

– Потихоньку, – промолвил я, и радуясь, и волнуясь одновременно. – Только свет выруби, пожалуйста.

В палате было пусто: все ушли по делам, и я один лежал в полузабытии. Пожалел, что не успел припрятать дренажный мешок. Мама обняла меня за голову. Мешок будто не заметила. Но, подойдя ближе, вдруг схватилась за простынь:

– Ну, дай посмотрю.

– Не надо, – сказал я убито.

– Да ладно тебе, что ты...

Я чуть приоткрыл рану, показал намокшие бинты.

Мама всегда очень хорошо делала вид, что все в порядке. Я знал это по другим знакомым, которых она навещала в больницах, не обращая внимания на инсульты и параличи, могла превратить это в обычную неурядицу, житейское дело. И только после, бывало, ужасалась. Вот и теперь достала из сумки исполинский термос с шиповниковым чаем, какую-то кастрюльку, печеные яблоки, бутылки боржома...

– С тобой здесь кто лежит? – торопливо уточнила она. – Угости обязательно...

И вдруг меня пробило отдаленное воспоминание: ещё тогда, перед черной долиной, до зеленых пятен, я обещал анестезиологу, что отдам деньги. Мы на чем-то сговорились. Ничё не помню. Где он теперь?

– Мам, анестезиолог бабки просил.

– Взяла, не переживай.

– Надо найти его... – язык заплетался, я смотрел в одну точку, и оттого казалось, что я хамлю.

– Ты главное, ешь, – сказала мама. – Тут бульончик слабенький, такой даже язвенникам дают. Наркоз хоть нормальный был?

– Ну... – помолчал я, не зная, как лучше ответить. – Были глюки...

– Да что ты, – мама помолчала, погладила ладонью кушетку. – Знаешь, я когда Сашку рожала, у меня тоже такой жуткий наркоз был. Как будто я стригу какую-то овечью шерсть или облака. А это оказывались огромные куски мяса.

Зрелище ужасное.

Но тут же, будто развеяв морок, открыла тумбочку, всмотрелась, что находится под кроватью, инспекторски изучила мои худые ребра и всплеснула руками, вернув одеяло на место:

– Ой, тощий, как глист!.. Ладно, пойду разузнаю...

Я дожидался её, глядя на гору еды. Веки тяжелели.

– Привет, Федя, – вдруг обратился ко мне кто-то, как к другу.

Я вздрогнул. В палату почти бесшумно проник анестезиолог, озираясь, вращая глазами. Чудно видеть его тут, по закону подлости. Я напряг живот, и слегка приподнялся. Он рассеянно пожал мне руку:

– Лежи, лежи. Как? Молодцом? Денежку приготовил?

– Вы знаете, – я перебил его. – Мама пошла вас искать...

Он оцепенел, сменил тон:

– Какая мама? Куда пошла?

– Она хотела спросить, ну, насчет оплаты...

– Вы что творите?.. Как мама выглядит?

– В очках, невысокая... – замешкавшись, сказал я.

– Ну, и где мне её ловить? Ты меня без ножа режешь! – он ощупал бычью шею крупными руками, выругался и выбежал из палаты на коротких ногах.

Выходит, я подставил его, сам того не желая. Мной овладело бесчувствие. Как хорошо забыться и уснуть. Но кто-то гнилым, острым пальцем вковыривался мне в пуп. Засада со всех сторон.

Фомин вернулся, поплескал оставшейся на донышке водой в огромной канистре:

– Мишка – всё, выписывается, – поведал он, разгладив мокрые усы.

Я вспомнил мамин наказ:

– Не возьмете водички?

Дядя Саша грустно бросил взгляд на «Боржом»:

– Да нет, ну что ты.

Он долго накренивался и лег, потирая живот, продолжая поглядывать на зеленые бутылки.

– Да вы возьмите парочку! – сказал я с тоской от новой боли. – Куда мне столько...

– Лады, – неуверенно согласился он. – Супруга придет сегодня, отдаст.

Дядя Саша закрутил пустую канистру, повалил её на пол и задвинул между тумбой и кроватью.

Мама вежливо с ним поздоровалась. Но на лице её читалось недоумение от чего-то, произошедшего за дверью.

– Нашла ты его? – изможденно спросил я про торговца наркотом.

– Наорал на меня... – с испугом поведала мама. – Откуда мне знать, что

он тут устраивает шахер-махер!.. Какой-то тип полукриминальный. Наркоз-то хоть хороший был?

Видно, забыла.

– Хороший...

– Ты знаешь, – шепнула она, видя, что Фомин задремал. – Тут посоветовали тебе барокамеру проделать, хоть пару сеансов. Знаешь, такой ящик с кислородом...

Я слушал её, пытаюсь унять нетерпение.

– Говорят, это всем нужно, кому на животе... – продолжала она. – Вроде как, помогает... Двести рублей сеанс...

Она опять говорила со мной, как с маленьким. Но я и вправду не мог сосредоточиться. И оттого ещё больше злился:

– Какая барокамера... Это что, куда-то идти?

От одной мысли, что придется опять вставать и ползти, я вскипел. Неужели непонятно, как это унижительно и трудно?

– Ладно, хватит! – вдруг выпалил я.

– Да мы все уточним, чё ты переживаешь? – негромко, но напряженно сказала мама. – А ты что ж ничего не съел?

У меня мелко дрожали руки.

– Ем я, ем...

Я смял ложкой печеное яблоко. Но вдруг опять будто ударили палкой по нервам:

– Барокамера! Денег много, что ль?

– Федь, ну что ты психуешь? Я не знаю. Так же, как и ты. Щас папе позвоним.

Но меня уже несло:

– На кой х..р это надо. Как мертвому припарка!

И мамин голос похолодал:

– Слушай, ты чё хулиганишь? Я щас развернусь и уйду...

Я замолк:

– Прости.

– Ешь, не мечтай, – прошептала она, смягчившись.

Теперь в живот будто вворачивали шуруп.

Жизнь делилась на больно и очень больно.

Фомин не спал. Я через силу доел яблоко. Мама внимательно слушала дяди Сашин рассказ про жизнь, и вскоре уже делилась своей историей о какой-то подруге, у которой была желтуха, и она в конце концов излечилась. Хорошо, когда мама рядом. Я бы почти уснул.

Только был слишком яркий свет из окна.

– Андрей, ну объясни ему!

– Федь...

– Мне ничего объяснять не надо, – сказал я якобы отрешенно. – Решили и решили, чё воздух сотрясать...

– Ты ещё переодеться успеешь!

Намочив в раковине одно полотенце, мама быстро обтерла меня, насухо прошлась по спине другим. Будто снеговик, который тает и разваливается на солнце, клонясь набок, я натянул свежую футболку. Давай украшать гроб повапленный.

Раздались лязги, дребезги, скрипы. Незнакомая ухоженная медсестра, ладная, в халате с короткими рукавами, будто сошедшая с картинки, прикатила старое инвалидное кресло. Она ловко волокла его за собой, и в её руках оно казалось древним, но вполне себе годным инвентарем.

Я стал подниматься. Не могу. Слишком больно. А рядом мама и папа – смотрят. И эта приличная тоже. Одним нажатием ноги она подогнала каталку вплотную к кушетке и схватила меня за ладонь. Папа подоспел.

Подхваченный ими, я перебрался на коляску, а точнее, рухнул в неё. Мама нацепила мне на ноги тапки.

– Трусы на молодом человеке – не синтетические? – тактично осведомилась медсестра.

– Нет, хэбэ, – пригляделась мама.

– Чудненько.

И меня накрыли шерстяным пледом. Вышколенность медсестры с непривычки пугала – хотелось соответствовать, но какое там. Она плавно развернула колеса. Колымага почти без тряски скользила по коридору. Снова куда-то ехать – значит, опять мучиться. Душа держится на ниточке, как бинтик, прилипший к коже, – того и гляди отдерут – но я почему-то обречен ощущать этот последний тонкий узелок.

Спустились, проехали по сумрачному коридору. Папа перехватил коляску, желая помочь. Медсестра с благодарностью зажмурилась, словно от солнца, и пошла налегке. Я пытался собрать мысли в кучку:

– Врач сказал, у меня гангренозный... перитонит, что ли... – и я закинул голову назад.

– Атипично расположен был отросток, – ответил папа с мнимым спокойствием. – Говорят, аппендицит тазовый, необычный. Вот и не отследили.

– А что это – «гангренозный»...

Папа хмуро улыбнулся и сжал мне плечо:

– Федь, ну...

Я боялся конца поездки, но он быстро наступил. Мы оказались в просторном зале. В углу возвышался допотопный батискаф, вроде подлодки Немо, но потертый, клаустрофобически маленький, рассчитанный на одного человека.

Медсестра открыла люк и выдвинула из батискафа раскладушку, которая показалась высокой, как лоб Гулливера для лилипута.

– Попробуй, – приветливо сказала она, слегка присюсюкивая.

При каждом движении в месте шва по-разному тянуло, рвало и драло. Я приподнялся и хотел было вскарабкаться пограциозней, но повалился на матрац, как деревянный болван.

Обхватив запястье, медсестра сосредоточенно щупала пульс.

Лицо было почти девичье, молодое, с ускользящими чертами, розоватыми щеками, прибранными под шапочку, плотными, как кудель, кудрями. Подбородок – слегка выпячен, но это её не портило, наоборот, подчеркивало гармоническую слаженность черт. Она считала и шевелила губами с озадаченным видом, будто ей самой очень интересно, что там натикает.

Потом измерила давление аппаратом, который нудно гудел, пока толстый валик сжимал ослабевшую руку.

Папа едва слышно напоследок обратился к сестре:

– Вы уж потом ему помогите...

– Ну почему же не помогу?

– Я сам.

Зал был огромен, и в нем остались только я и она. Её мелькнувшее переменчивое лицо показалось вдруг усталым. Возле глаз обозначились морщины, по которым лет через пять прорастёт старость. Но свет снова умыл её, и она вдруг засмеялась.

– Ой! – торопливо подставила пузырек, слишком много набрав в пипетку какого-то лекарства. Подошла, капнула мне в нос этого масла. Придержала ноздрию, потом другую. Я чувствовал себя ржавой дверью, которую смазывают.

...Слушала легкие, приложив к груди холодную мембрану фонендоскопа. Пусть. Всё равно. Только бы меньше боли, которая снова запускала в меня острые клешни, сбивала любое дыхание.

Комнату пронизывал рассеянный снежный свет.

– Сейчас, – медсестра уложила дренажный мешок возле пояса, видно, заметила, что мне больно, и доверительно заговорила. – Барокамера обладает оздоровительным эффектом. Процессы заживления ран проходят вдвое, втрое быстрее... Когда начнется, – предупредила она слегка манерно и вкрадчиво, – ты просто спокойно дыши носом. Но раз в полминуты или даже почаще обязательно зажимай ноздри, и выдыхай со всей силы. Главное – выйти на режим. Это у нас так принято говорить. «Режим» наступит минут через десять.

Наверно, у меня какой-то больничный синдром: схватиться за

случайного человека, и впасть от него в зависимость. Но если есть такой талант – любезность, то она им обладает, даже когда произносит всю эту казенщину.

Она обхватила ноздри пальцами и образцово-показательно выдохнула. Я, опомнившись, тоже зажал нос, и тоже с силой выдохнул.

И вдруг она задвинула раскладушку вместе со мной в эту печь.

Не успев толком сообразить, я очутился внутри железного сундука. Медсестра плотно, с лязганьем задраила люк, массивный, как в подводных лодках, и показалась уже по ту сторону толстущего стекла. Я нервно поерзал на узком лежаке. И вдруг услышал её металлический голос, проникший в капсулу по внутренней связи:

– Удобно?

– Да, – проблеял я.

– Поехали.

Я был отделен от всего мира иллюминаторами, и понял, что вмиг забыл её инструкции. Передо мной чернела покатая стенка продолговатой бочки, в которую я был заперт, как Гвидон. Женщина спокойно смотрела на меня, будто на далекого космонавта, отправляющегося на орбиту. Хорош космонавт, с дренажом и обколотый. Она показала большой палец в рукавице, как бы спрашивая, все ли в норме.

В ушах шумело мое же дыхание. Я едва кивнул. И услышал её почужевший голос в динамике:

– Видишь часики? Процедура вся минут сорок пять. Можешь даже поспать. Но помни, сейчас – «режим», и в конце – «режим»!

Откуда-то раздалось шипение, будто впрыскивают бутафорский дым. Я вспотел. Вокруг что-то заурчало, всё громче, громче. Потом стихло. Я сглотнул, пробил уши. И опять шум исчез.

Я снова пробил пазухи сильным ударом воздуха. И вдруг зарычало с новой силой. Только теперь я понял – шумит, как и прежде, просто я ничего не слышу. На уши давит. Так, неровен час, оглохнешь. А что случись – как вылезать? А закоротит? А вдруг она мне сейчас говорит что-то, предупреждает, а я, может быть, ни ухом ни рылом? А?

Я неустанно с кваканьем возвращал себе слух. Вдруг почувал, как в камеру нагнетается другой по составу воздух, арбузный, свежий, кисловатенький. Теперь на перепонки не напирало.

Медсестра пристально высматривала что-то на своем экранчике, никуда не уходила, и время от времени как-то по-домашнему глядела на меня. Я успокоился, хотя и чувствовал себя неловко под её взглядом. Но потихоньку задремал. Мне снился зеленый, будто фломастерного цвета, влажный луг. На нем блестела роса. Я знал, что если по нему пойти, то вымокнут ноги, я упаду. Я знал, что там чавкают кочки. И завяз в иле, и легче было проснуться.

Открыл глаза, и снова услышал её голос, искаженный динамиком, и все же приятный:

– Сейчас декомпрессия, уши будет закладывать, но ты продувай. Забыл? – и она снова зажала ноздри, как пловчиха. – Режим!

Снова исчезал и возвращался слух. Наконец рокот совсем прекратился. Она ушла за пределы видимости. Я разволновался. Но она всего лишь открыла люк.

Оглушенный, с тяжелой головой, я лежал неподвижно.

– Что с вами? – беспокойно спросила она.

Я потратил остатки сил на то, чтобы изобразить, что все хорошо.

Она радостно утерла лоб тыльной стороной ладони.

– Нормально? Понравилось?..

Я не знал, что ответить.

Мне понравилось её внимание.

– А то уж я даже испугалась, – и, выдохнув, она снова замерила давление. Потом подхватила меня под мышки и с готовностью помогла слезть. Она оказалась сильнее, чем я думал. Перебирая непослушными ногами, я повергся в кресло.

Дренаж, змеей лежавший на простыне, я придержал за трубку, и тот сполз следом за мной.

– Поспать бы ещё... – проговорил я.

– Все правильно. Вам и нужно отдохнуть, часика два. Завтра в девять зайдут.

И вдруг я понял. Наверно, она так внимательна и чутка, потому что ждет бабла.

– Папа ещё не оплатил? – осведомился я с подозрением.

– Оплатил-оплатил, – и она хлопнула меня по плечу, таща каталку.

Завтра я, может, снова буду здесь. Но дотянуть бы, пережить эти сотни минут боли...

Ехал в инвалидке. Обмяк совсем. Челюсть отпала, как у умственно отсталого, глаза закрылись. Коляска дребезжала по коридору, вдаль от огромного окна, убегавшего назад.

– Дамы, подождите десять минут, – сказала наша дежурная по палате, Улыбчивая, сунув руки в халатик. У неё была типичная манера: она постоянно что-то выковыривала из зубов языком, будто собиралась презрительно фыркнуть.

Оставив меня в кресле посередине перевязочной, она отошла к двери и стала любезничать с парнем в зеленой врачебной робе.

Повернувшись спиной, у окна что-то писал в большой амбарной книге

приземистый доктор.

– Юля, вы, может, дверь закроете? – сказал он, и я узнал Арутюна.

Улыбчивая пожала плечами.

– Секундочку... – сказала она, мелькнув тонированным лицом, скрипнула дверью, но все же вернулась, подхватила меня под локоть, и, только лишь я, кряхтя, начал переваливаться на стол, снова ушла.

Я упал на стол и просто отдыхал. Меня обдувал сквозняк, но это было даже приятно. Холода было не избежать – и, значит, оставалось ловить поток.

Вернувшись, она торопливо помыла округлые руки с короткими пальчиками в тазу, резко стряхнув воду. Надела клеенчатый фартук, перчатки, накрыла скатертью столик, разложив на нем какие-то штуки, похожие на пассатижи.

Подошла ко мне, пожевывая мятную жвачку.

На лице застыла постоянная, не очень добрая улыбка. Возможно, она таила про себя хорошее настроение, но им ни с кем не делилась. Взяла пинцеты и с силой отодрала наклейку от живота, потом стала снимать слой за слоем. Пухлый нарост марли с ватой внутри, нижние, влажные бинты...

Зашипела перекись на ватном шарике, которым она обмакнула вокруг раны. Краем глаза я увидал посиневшую кожу, зубья швов, сукровицу. Боль не зависела от манипуляций. Я таил надежду, что трубку, торчавшую из живота, выдернут прямо сейчас, и на этом все закончится.

Слышался унылый запах бензина.

В этот момент медсестра растянула простынь на уровне моей груди, наверно, чтобы я не видел. Сбоку встал Арутюн, совсем как на операции, и на меня опять навалилась прошедшая ночь, и я пытался перемолоть её душой, и только усилилась боль...

Они промочили живот чем-то прохладным. Я чувствовал, как пластырем прилепляют новую повязку. Видно, возвращалась чувствительность, и рези пронизывали полтела от живота к ногам. Я начал переминаясь, ворочаться, и это оказалось ещё большей пыткой.

– Трубка эта... – прошипел я.

Арутюн посмотрел на меня с грустинкой, будто боролся с желанием что-то сказать.

– Держись, боец, – и будто оттаял, продолжил с мягким армянским акцентом. – Не залеживайся. Обязательно пробуй ножками топ-топ... Сразу уберите, чтоб не мешалось, пожалуйста, – устало сказал он Улыбчивой.

Я понял, что трубку не вынут.

Она вывалила грязные шкуры в бак. Я долго переползал в инвалидку, уложил поудобней дренаж, и она докатила меня палаты.

Над входом горел плафон.

– Подожди тут, пока кварцевание.

Улыбчивая резко оставила ручки коляски. Я обернулся, но её и след простыл. Я сидел перед палатой, и часто дышал, пытаюсь представить, что я в шезлонге на море. Поднималась температура.

Сквозь окна, закрытые кремовыми шторами, пробивался холодный свет.

6

С бортика Мишиной кушетки свисали черные брюки, клетчатая рубашка и белый свитер. Миша был гладко выбрит и умыт, будто человек в купе, ожидающий, когда поезд прибудет на вокзал.

Фомин тукнул о подоконник пустой бутылкой.

– Берите ещё, – предложил я. – И чаю полно...

Дядя Саша скромно глянул на термос, и сказал тихо, нежадно:

– Чайку бы я выпил.

Я плеснул ему в стакан кипятка из термоса. Миша только поморщился, отказавшись, и продолжал с буддийским спокойствием проминать плечом подушку.

Я поглядел на газеты, которые мама принесла. Там были высказывания политиков, публицистов, аналитиков, фотографии звезд и цитаты из интервью экспертов, рейтинг слухов, и многое было черным... Я пытался хоть что-то понять, но как-то страшно ленился: все, что я мог уловить, это то, что газеты пахли газетами.

Лежал на полу дренаж – часть меня, которая саднила, дергала, ранила. А ведь мне утром кололи обезболивающее. Теперь-то понимаешь, что самое ценное в мире – это анальгетик, который действует.

Вдруг Улыбчивая открыла дверь и ввезла две капельницы.

Дядя Саша привычно отбросил руку, на которой виднелся задравшийся, старый пластырь с катетером для иглы. Он фокусировал зрение после забытья.

– Вздремнули? – сказала Улыбчивая безразлично.

Он прочистил горло:

– Не спал ни грамма, – и слабо улыбнулся в ответ.

Она пододвинула сооружение с большим баллоном и вентилем в середине. Удрученно глянула на дяди Сашину руку:

– Фомин, что же вены-то такие слабые, а? Ну, в следующий раз будем в ту колоть.

Дядя Саша молча и почти виновато посмотрел на неё. Она сжала скулы, с усилием обтирая спиртом его желтые руки. Потом стала собирать шприц. Впрыснула во флакон розоватую жидкость. Проверила катетер, крутанула шестеренку наверху.

– Ну вот, – сказал Фомин уютно, будто очаг разожгли, и пламя греет ладони.

В животе нарастала боль. Тем сильнее была жажда получить свою дозу внимания. Я разглядел, что у медсестры мятые, волнистые волосы, расплетенные мелкие косички...

– Катетер есть? – Улыбчивая повернулась ко мне. – Значит, с тобою возни немного.

Она подкатила такой же, как у дяди Саши, механизм с баллоном, пристегнула тонкую макаронину к иголке, торчавшей из вены.

– Когда закончится, краник перекрути.

По проводкам поползла розоватая вода.

– Сестренка вот эта хорошая, – промолвил дядя Саша по-советски, когда она ушла. – Только что мне глюкоза...

Миша грыз орешки из пакетика, как бы уже отдельно от нас.

– Больно тебе? Вообще, аппендицит – больно? – спросил он меня, крепкий, взрослый, с волосатой грудью. А вопрос был какой-то наивный. Видно, ему просто хотелось убить время.

– Ну, вообще, больновато... – промолвил я.

– Вот ведь, – Миша зевнул. – Простая вроде бы операция, чик-чик, и всего делов, а вишь, и осложнения бывают, и клёп знает что. У меня вот отец в лагере смерти сидел, у немцев. Так он мне рассказывал, ему аппендицит наживую резали, опыты ставили. Шинель, рубаха – хоть выжимай, все мокрое от пота было. Ремнями какими-то скрутили, и...

Он кивнул, ещё что-то припоминая, и почесал под лопаткой. Я закрыл глаза, не желая удваивать боль за счет чужой. Вдруг дядя Саша подал хриплый голос, победоносно озирая нас обоих сквозь путы синих проводов:

– Слушайте, – он напряжился, вытянулся вперед жилистой шеей. – Я же не рассказывал, как я второй раз на свет родился! Ты же уйдешь, Мишка, дай я тебе расскажу...

Стараясь не шевелить исколотой рукой, он подтянул треники, вспученные на коленях.

– У меня же мерцалка, – Фомин лихорадочно затараторил. – Обмирает прям все в груди. И вот года три назад – приступ. Сын повез в коммерческую. Мы на анализах всё и потратили. Диагноз-то ставят, а на лечение денег нету ни х..я. Ни с чем и вернулись. А дома так плохо стало! Жена неотложку вызывает. Привозят в районку... И я прям в коридоре сознание потерял, мордой вниз упал, вот так. В клинику смерть вошел. Ещё бы минута, и все. Фююю! А фельдшер, Владимир Ёсипыч, мне на полу в приемном массаж сердца сделал. Ёсипыч-то меня вернул. Вторую жизнь мне подарил. Мы доктора этого благодарить хотели, мешок ему соорудили, деньги собрали... Так он – не взял! Понимаешь?

Сочились капельницы. Дядя Саша смотрел попеременно то на меня, то

на Мишу, ожидая небывалого удивления.

Я удивился. А Миша сказал только:

– Ну, есть, есть такие... – и зевнул сладко, со слезою в глазах.

Фомин глотнул остывшего чаю, снова стал бормотать:

– Ёсипыч мне тогда сказал: вообще-то тебя здесь бы не вернули бы. И правда, больница редкая. У нас туалет – если с тамошним сравнить – понимаешь, царский! Там грязюка, слякоть страшная, скользкота... Утром очередь в сортир – женщины, мужики... Дед на унитаза сидит без штанов, нога ампутированная, костылем машет, других отгоняет, с бабкой препирается. Медсестра без подачки утку не подаст. Юморина. О-ой...

Он закрыл лицо ладонью, пожевал усы.

А Михаил со скукой поглядел в потолок голубыми, простыми глазами:

– Что ж ты хочешь, дядь Саш. На всех хороших мест не хватит! – он посопел.
– Нужно выходы искать... Знаешь, у меня сестра лежала, нам в больнице сразу два списка дали. Один – какие достать лекарства, другой – что купить врачам: сервелатик, икорка, коньячок. Ну, мы подсуетились. Совсем другой подход был. Или я – с тем же гастритом валялся – врач на обходе прямым текстом: «Вопросы подавайте в письменном виде». Ну, я ему и передал... письмо, – Миша мирно улыбнулся. – Он с тех пор меня четыре раза в день навещал!

Фомин лежал задумчиво и отрешенно, закрыв глаза. Он совсем не слушал, и думал о своем, и о другом говорил.

– ...Я тогда выписался – не боялся ни-че-го... – наконец прохрипел он. – Слабый был, как дистрофик, а смелость такая, радость. Я в этот день свечку ставлю, так-то я не сильно... Ну, как я сюда угодил, Миш, я не знаю! – и голос дрогнул. – Две с половиной недели не могут диагноз поставить, – он яростно выставил ножницами твердые пальцы. – Ты видел где-нить такое?

– Да есть диагноз, – Миша неторопливо встал, и стал надевать рубаху, методично застегивая пуговицы на рукавах. – Гепатит у тебя...

– А с пузырем что? – оспорил Фомин. – Тут же определенно надо, а не на кофейной гуще. Путину, что ли, письмо накропать? Чтобы порядок навёл...

– Ой, ладно, Путин. Что, Путин, он думаешь, за что отвечает? – Миша пригляделся и отряхнул ладонью брючину. – Его опутали.

– Да я шучу...

Склонившись к зеркалу над раковиной, Михаил проверил пробор тонкой расческой, с ухмылкой остановился, и все-таки решил тоже что-то поведать:

– Мне вот приятель рассказывал, бизнесмен, ну, и партбилет у него, конечно, есть... Где-то гостил. Смотрит из окна – народищу, машины с маячками! Вышел на улицу, интересно. Корочку показал. Пролез вперед. А он представительный такой. Тут его парень с рацией толкает под локоть: грит, давай, прикрывай тыл. Тот смотрит, руку протянуть – Путин стоит. Низенький такой мужичишко,

лысина чем-то замазана, помадой, что ль... Шея красная, воротничком натертая... Путин! Нормальный обычный мужик! А приятель мне потом уж и грит: «Я вот думаю. Возьми авторучку, или там ключ от машины, ткни, да? И всё. И был бы Путин».

Миша присел, сохраняя какое-то непонятное злорадство на лице.

– А может, и правда, сказать что-нибудь, пожаловаться... А что вот скажешь...

Он на мгновение задумался, продул расческу и спрятал в карман.

Я не встречал в разговор. Низ живота теребила дренажная трубка. Я думал: ещё минута боли, и я выдерну дренаж.

Но минута проходила, и я терпел до следующей.

Фомин до красноты расчесал руку вокруг катетера, и опять припомнил свое, сокровенное, его мысли двигались по своему кругу:

– ...А ещё Ёсипыч мне сказал: «Следи, говорит, за сердцем. Очень дряхлое у тебя сердце, изношенное». Понятие у них такое есть. Ох, как же я тебе благодарен, Гданский Владимир Ёсипыч... Видишь, помню, как зовут!

Он заскрипел кушеткой, сглотнул подступившие слезы, и сменил тему, вполоборота повернувшись ко мне:

– Жена придет, она тебе «боржому» принесет, – он кивнул на меня. – А то я совсем Федьку обокрал.

– Да что вы, что вы, – застеснялся я.

– Обещала прийти в четыре. Есть уже четыре, Миш?

– Полпятого! – сказал тот, подтянул носки, продел ноги в шлёпки и присел, полностью экипированный.

Дядя Саша, упираясь в грудь подбородком, на котором виднелись кусточки неровной щетины, открыл новую зеленую бутылку о железный край кушетки. Вдохнул. Бутылка с дрожью клацала о край граненого стакана, который он просунул между коленей. Шипел боржом.

На донышках наших баллонов оставалось по капле розовой жидкости.

– Будь другом, позови принцессу-то нашу, – обратился Фомин к Мише. – А то водичка кончается. Сейчас воздуху в вену наберем, и кирдык. Шучу... – и Фомин, зыркнув на меня, устало прикрыл глаза.

Миша перекрутил краники. Окно набрякало сиреневой темнотой.

Вдали был виден край леса.

Медсестра вошла, стала ставить Фомину новую капельницу. Я почесал освободившуюся руку.

Фомин молчал, будто вся энергия израсходовалась. Уж и хотелось, чтоб он говорил, хоть про что, хоть про Ёсипыча. Но он утомленно смотрел в окно, за которым зажглись фонари, беззащитным, отсутствующим взглядом.

Миша обнял дядю Сашу. Я пожал шершавую руку Миши. Оказалось, у него в шкафу были припрятаны ботинки в пакете, и висела потертая, когда-то модная куртка с тигром на спине. То есть, все, чтобы просто выйти на улицу, потеряться в толпе.

И он ушел.

В палате остались мы вдвоем. К вечеру Фомин очень устал, такое ощущение, что ему тяжело было даже лежать.

Я чувствовал тепло после уколов. Улыбчивая содрала старое белье с освободившейся кушетки.

Заметила на блюде забытые мною таблетки.

– А это что?

– Сейчас съем, – сказал я пугливо.

Она хлопнула дверью, та вскоре раскрылась. Из коридора веяло спертым запахом табака. Но было уютно. Я наощупь выбрал какую-то горошину, сунул под щеку. Сахарная, вроде конфеты. Хорошо.

Терпел и терпел, гадая, а вдруг укол подействует.

Внизу, по обеим сторонам от входной двери, светились круглые прожектора, вмонтированные в стену. Если смотришь на них – кажется, легче. Где Катя, с кем, что сейчас делает? Пойти бы с ней. Просто обнять.

Но так не бывает.

Если б я мог ходить.

Если б я мог обнять.

Далеко, за холодным окном, куда-то ехала маршрутка – комок света, движущийся по дорожной ленте – и скрылась за кромкой оконной рамы, куда уже ни дотянуться, ни разглядеть.

30 октября.

Четверг

1

Острый кусок пластмассы резал живот, как пирог. Если двигаться – ощущение, что внутри еж-игольница с тысячей иголок. Замрешь – ещё хуже. Боль играет на животе, как на органе, полный абонемент.

Почти без сна, без малюсенького передыха навалились новые сутки.

Способность спать – неоценимое чудо, которое у всех есть, а у меня нет. И опять влачить свои телеса.

Я ведь не нытик. А толку? Уже и так покаялся, и эдак воспрял, и упал опять, а всё по-прежнему, даже хуже.

Боль – нравственное понятие. Унижает личность. Если болит – значит стыдно. И неминуемо чувство раскаяния.

Все имеет конец. Но меняется его смысл. Не так уж это и плохо – освободиться от боли.

Три часа ночи.

Все, что сдерживало, чтобы не рыдать – Фомин, который тоже ворочался на соседней кушетке, и спал только урывками.

Боль – просто так, *ибо абсурдна*... Искать в ней смысл – все равно как высматривать в тупой морде динозавра человеческие черты. Мы думаем о боли по нашим понятиям – как о возмездии. А, может, все проще. Снотворное – смехотворно. Обезболки доза – кошкины слезы. Стихи. Гораздо лучше, чем раньше. По крайней мере, более жизненно.

Сегодня надо пойти. Так говорил Арутюн. Это все равно что сказать: как рассветет, лети.

В чем же причина всей этой боли? В дренаже, торчащем из пуза? В моих грехах?

Как же охота орать. Цель – не заорать.

Замри. Отомри.

Опять знобит. Или просто из окна поддувает...

2

В той же тельняхе, что и вчера, шаркая тапочками, Фомин встал в пасмурном свете. Сегодня он казался совсем ослабелым.

Видно, решил побриться.

Он встал напротив зеркала, вправленного в шкафчик возле двери. Осмотрел щеки в инее щетины. Натер их вафельным полотенцем. Плеснул на лицо водой. Достал из коробочки обмылок, растер его в руках, и получилась густая пена. Обмазал щеки помазком, стал водить бритвой по скулам. Внимательно, неторопливо подправил усы. Закинул голову, выставил исхудавшую шею. Провел по ней бритвой, и сине-желтые куски кожи бороздами зазияли среди белизны. Потом сунул голову под кран, и, подтаскивая за собой дренажные мешки, утираясь все тем же полотенцем, побрел обратно к лежанке.

– Пойти в столовой воды взять, – в раздумье проговорил он.

– Ой, пейте на здоровье...

– Ты не думай, мне правда принесут, – он опять взялся за старое, шепча с какой-то болезненной принципиальностью. – Жена, видать, замоталась просто, не дойдет никак.

Я лежал, не двигаясь, глядя, как рассветает. А он решил поведать мне что-то задушевное.

– У нас как. У дочки-то нашей маленькая. Ну, как маленькая – девять лет уже. Муж их бросил... Ну, и дочка, значит, новую жизнь строит... Внучка, в общем, у нас с бабкой живет. На старости лет колдыбаемся.

Он с прысканьем открыл очередную бутылку. Железная крышка закатилась за кровать.

– Девочка чудесная невозможно. Умненькая. В музыкальную ходит... Чабатукку танцует... Учительница её всем в пример ставит. Были тут у ней на концерте.

Дядя Саша засмеялся глазами, продолжил доверительным шепотом:

– Слышь, а на даче болонка есть. Таська. Ну, такая умничка! Бывают вот умные животные. Кудрявая, маленькая, смышлененькая! Ну, прелесть. Она сейчас болеет. А ветеринары знаешь сколько просят? – он пожевал большими губами. – А где денег взять? Тоже боль головная.

И опять, когда живот на мгновение отпускало, я кивал, стараясь честно вникнуть во все эти реалии. Но вдруг дядя Саша приподнялся с болезненным азартом:

– Федя. Давай я тебе помазок дам. Ты ведь будешь сегодня бриться?

– Ну, что вы... – сказал я, скрывая неохоту. Привык бриться электрической, и надо-то было от силы раз в неделю. И вообще, сейчас меньше всего заботился о поросли на щеках. А главное, проснулась брезгливость.

Но он предлагал от души.

– Вон, в стакане помазок, – дядя Саша взмахнул оливковой рукой с белесыми, как у негра, ногтями, и сказал шепотом. – Возьми. Новый.

– Спасибо... – сказал я зачем-то таким же шепотом.

– Возьми-возьми.

Я стал мучительно, будто сворачивая гору, приподниматься. Заполз спиной на подушку. Подтянул мешок, то и дело вздрагивая, боясь себе навредить.

Свесил ноги. Свалился на колени. Понял, что на карачках трудновато будет сделать первый шаг. Дядя Саша наблюдал за мной неподвижным взглядом.

– Всё в норме, – чуть слышно сказал я.

Сутулясь, как франкенштейн, поднявшись на ноги, ступая сантиметр за сантиметром, я пошел вперед, балансируя сжатыми кулаками, вжимая ногти в мясо ладоней, подтягивая мешок.

Получилось. Открыл неповоротливый кран. Умылся. Теперь предстоял ещё один великий поход – в туалет.

– Во-он там, в шкафчике, помазок-то, – настойчиво сказал дядя Саша.

– Возьму. А у меня, знаете, газеты есть... Вчерашние, правда... – я вытерся своим вафельным полотенцем, проверяя, как стоит на ослабелых ногах.

– Ага, ага...

Фомин не стал знакомиться с прессой. Спрятал восковую спину, набросил одеяло и отвернулся от холодного окна.

3

Они вдвоем ждали меня. Мама сидела на стуле рядом. Папа вскочил с матраса. Я хотел подняться с коляски, но все же не удержался на подлокотниках, шмякнулся о трясущееся кресло, будто оно притягивало меня к себе. Теперь я знал, что и барокамера не уменьшает боль, если та прижмет. А кроме того, это, конечно, не важно, но сегодня барокамерная фея сменилась. Другая совсем.

Я подобрал ноги, придерживая дренаж, и наконец повалился на лежанку в крайней усталости.

Медсестра с угрюмым, тоскливым лицом быстро ушла, укатив инвалидку.

В остальном всё было, как и вчера.

И как будет завтра.

– Поешь, а потом умойся... – повторила мама.

Я слишком долго их ждал, и сразу раздражился, только лишь услышав, как от меня опять что-то требуют.

– Ну, что ты мне суешь, – сказал я маме лениво.

– Ты на ребра свои посмотри, – тихо промолвила она.

– А ты не смотри.

– Дурилка. Тебе давно всё разрешили. Я специально спрашивала. Андрей, ну объясни ему! Это – анорексия называется!

– Федь, надо подкрепляться, – вкрадчиво сказал папа.

– Слушайте, – разозлился я. – Жратва, жратва – сколько можно! Я реально не-хо-чу. Что вы пришли меня дергать?

Боль опять глодала меня. Скрипя зубами, будто в отместку, я стал цедить бульон. Не знаю, что накатило. Боль схлынула. И снова было стыдно, и хотелось, чтобы они были рядом.

– Хочешь, я тебе пониже сделаю? – предложил папа.

– Да всё равно... – я помолчал, и буркнул. – Повыше.

Папа переставил уровень изголовья, как будто на раскладушке. Мама вынула из пакета очередную отглаженную майку. Обхватила меня за плечо, чтобы снять прежнюю.

Но боль вступила по новой. Я оттолкнулся:

– Да не надо меня поднимать, я в состоянии...

То, что я не кричал, казалось мне большой победой над собой. Но тут же становилось совестно.

Судороги внутрих слегка затихли. В этой паузе можно было относиться к людям по-человечески. Но передохнуть я не успел. Снова наступил момент электрической боли – и опять я стал её проводником.

Как надоело изображать норму. Какая разница, в какой ты упаковке.

Я – коробочка с душой. Ещё раз подумав о коробочке, я вдруг ни с того ни с сего в голос засмеялся.

Безумно захотелось ржать.

Мама посмотрела на меня с улыбкой, недоумевая.

– Федюш...

Я прыснул от нового прилива смеха. И, к своему удивлению, чем больше я пытался прекратить, тем сильнее разбирал смех, до хохота, до слез, будто кто меня щекотал.

Фомин скромно ел в уголке манную кашу. Он перестал клацать ложкой о тарелку, глянул на меня исподлобья, опустив глаза.

Мне стало неловко. Вытёр слезы. Наконец, удалось одолеть новые взрывы глупого, бесконтрольного смеха, переходящие в колики, подавиться им.

Мама поцеловала меня в плечо, обняла за птичью грудную клетку:

– Золотой мой роднулькин. Сладкий сахарок...

– Ладно-ладно, – я судорожно шевелил мозгами, желая придумать удачное объяснение. – Я просто... – но ничего придумать не смог.

– Чаю сделать тебе?

– Чаю, да уж, пожалуйста...

Когда больно, и тебя окликают – чувство, что тот, кто зовет – тоже причиняет боль. Но сейчас – хорошо. И приятны чистые майка, трусы. И прекрасен чай. И отвратителен гнев. Правда, мучил невысказанный бред про наркоз. Ну, нет слов и не надо. Не сейчас.

Никогда.

– Завтра обещали потепление, – сказал Фомин, отложив тарелку с кашей комочками, глядя в окно.

– Ну, сейчас-то морозец, – отзывчиво сказала мама.

– А ведь дождь, вроде как... – уточнил Фомин дотошно, с каким-то особенным интересом. – Вы что, без зонтика?

– Да как-то проскочили, – сказала мама.

– Сентябрь... ой, октябрь на дворе... ноябрь уж, считай...

Клочковатый снег падал горизонтально, накось, в сторону, исчезая за окном, будто за пределами большого экрана.

робок. Каждый шаг казался героическим преодолением. Удары пяткой об пол беспощадно отдавали в живот. Дренажный мешок, как драгоценность, я нес в руках, стараясь сделать так, чтобы трубка не шевелилась.

Дошел до десятой клетки линолеума, и пошел обратно.

Вернувшись в палату, увидел, что рядом с дядей Сашей сидит какая-то женщина пенсионного возраста, забыв снять беретку с закрывками-ушами.

– Здрасьте, – сказал я, и стал переступать к своей койке, раз за разом все ближе и ближе. Схватился за железную решетку, как за спасательный круг.

– Здравствуйте, – скромно сказала она, и я понял, что это жена Фомина, о которой он не раз вспоминал.

– Федор. Очень серьезный парень, – представил меня дядя Саша. – А Мишка – помнишь Мишку? Выписали. Уж дома небось.

Она, видно, пыталась слушать его, но глаза были испуганные, и на лице – красные пятна. В руках жена Фомина перебирала потрепанный тряпичный футляр для очков, то и дело вздыхала.

Вскоре дежурная ввезла капельницы. Фомину долго вставляли катетер в новую вену. Жена скромно отсела подальше, отвернувшись, пока девушка ковыряла руку. Фомин лежал молча, только слегка щурился.

Медсестра случайно толкнула бедром тумбочку. Завалилась набок большая сумка. На ней были нарисованы негротяжки в купальниках.

Жена Фомина торопливо, стесняясь, подобрала выкатившийся сыр, предложила грустной, хрупкой медсестре. Та покачала головой и ушла.

Фомин, откинувшись на подушку, недовольно засопел.

– Что ты занервничал, Санечка? – у жены оказался молодой, громкий голос.

– Ничего. Устал. Ты завтра приди уж, пожалуйста, – как-то обиженно сказал он. – Значит, Люся – вернулась?

– Уж три дня назад. Ой... – вздохнула она о чем-то ещё наболевшем, теребя кольцо на отечных пальцах.

Дядя Саша сказал сквозь дрему:

– Если заканчиваться будет, краник крутани. Против часовой. Ты уж наученная.

И Фомин уснул. Она гладила его по седой голове, трубно сморкнулась в платок. Я молчал.

Нагнеталась боль в животе. Капала в вену глюкоза.

Фомин вздрогнул и медленно поднял глаза. Сонно разомкнул слипшиеся губы:

– Болонку во сне видел. Таська приснилась, слышь?

Жена задержала руку возле подушки. Легким касанием тронула его за лицо:

– Я вот смотрю... что это у тебя? Синяки?

– Да поранился утром, – он махнул рукой, натянув простыню на живот,

осмотревшись мутным взглядом, как пьяный. – Это у меня постоянно... Поцарапаюсь – все аж бурое... Достала эта желтуха е...

– Не ругайся!

– Мне сегодня ещё сон приснился, – он устало, но с улыбкой уперся головой в грудь, морщина подбородок. – Мы вроде с Генкой рыбу ловим, на пригорочек идем. Место знакомое.

Фомин приподнял жирное, вспотевшее лицо. Из-под лапчатых ресниц в упор поглядели прямые, какие-то гневные глаза.

– А у меня хлыстик новенький... На такой плотвичка сама бы пошла. Брательник мой, Генка...

– Ну, что, я Генку не знаю?

– Не перебивай. Мосточек такой. А вокруг никого, пустыня. Потом смотрю – сестра, отец... Вся родня там... И Володька. Помнишь, у нас с ним дружба какая была? Центровая... А брат – уж он покойник. Три года как...

– Это я знаю...

– Да я ему объясняю, погоди! – и он слегка мотнул головой в мою сторону.

– Ты сегодня вообще не вставал? – перебила жена.

– Почему. Побриться.

– Покушаешь? – спросила она кротко, опасаясь, что дядя Саша опять рассердится.

– Да дай.

Жена Фомина стала суетливо разбирать матерчатую сумку, расстегнула молнию, так и эдак переминая надпись “Wellness” на боку.

– Сырочек не острый. Макарошки вот, печеньки.

Запахло хлебом. Пока она суетливо резала бутерброды на тумбочке, я представил, что все это могло происходить где-нибудь в поезде по пути на дачу.

– Ты поспрашивай у этих... – глухо, но требовательно сказал Фомин. – Хоть знать. Сама видишь, я ещё пока не очень-то.

– Хорошо, хорошо. Я-то думала... а ещё ничего...

Она торопливо слепила бутерброд с тонкой булочкой, похожей скорее на сухарь, протянула Фомину, и устало, напряженно сцепив руки, села у окна отдышаться.

Стемнело. Я лежал с открытыми глазами, изнемогая от усталости после брожений по коридору и борьбы с болью.

Уснуть бы и проспать до утра. Амбициозные планы.

Нет красивых выражений, мыслей, чувств. Человек ничем не отличается от отбивной или карандаша. Всё равно будет изрублен или источен в стружку.

Я искал мало-мальски приемлемое положение тела, но его невозможно было обрести: везде ломило, жало, терзало. Только ты и животная боль.

Если я сейчас не засну, то чокнусь. Веки тяжело закрылись, как две кастрюльных крышки.

И я увидел серебряный лифт, вроде, университетский, но большой, грузовой, как в больнице. А в нем зеркало. Я подхожу вплотную, но стекло матовое, задымленное. Передо мною пустой квадрат.

Обернулся. Позади, в том же лифте стоит Катя в своем темно-бежевом платье. И радость, и смущение в душе. Не хочу перед ней в кальсонах, с этим острым, как нож, дренажом. От мешка пахнет резиной и гноем. Он, как и всегда, терроризирует нутро.

— Счастливо, — говорю торопливо, надеясь сбежать. Но лифт ещё едет.

И пока я смотрю на неё мельком — не дольше приличного — мгновенно узнаю правильность её черт, и на секунду забываюсь в ней, как будто после внутреннего выстрела.

Черты близоруко украла тень. Но светлость лица, но рыжая челка, и волосы немножко взъерошенные, идеальные — и глубина карих, обрушивающих глаз, и румянец, и сжатые, скромные губы...

Вся красота мира соединилась в ней. Темные глаза и неожиданное отсутствие улыбки. Аккуратная упругость груди и сдержанная ирония.

Она смотрит на меня прямо, всё уже знает.

Глаза умные, северные. Неладно между нами. И вся та напряженность, шершавость, психоз какой-то, когда её вижу. И вина. Но ведь и она что-то постоянно скрывает.

Курит. Обмахивается большими листами с конспектами. Что-то тихо говорит, не понимаю, и говорит-то не мне, зная, что не расслышу... Тени под предметами поползли, будто промокашка сумерек смазала чернильные пятна.

Не встретиться мы, не увидь я её, был бы безнадежно беден. Встретив — ранен безнадежно. Если тебе лучше с другим, пусть тебе будет лучше с другим. Я сердце закрою, а ключ проглочу.

В зеркале — она. А меня нет.

Вдруг вступила боль, и я, конечно, проснулся.

Наверное, ещё раннее утро, ещё терпеть. А потом взвалить на себя очередной день.

Я дотянулся до мобильного. Посмотрел на экранчик и беззвучно заплакал.

Полдесятого! Вечера!

Так впереди вся ночь? Целая ночь?

Я приподнялся, достал из упаковки баночку актимели. Впился в неё, поглощая полезные бифидобактерии. Стряхнул в горло последнюю каплю. Смял.

Боковой свет был включен.

На тумбочке валялась «Мадам Бовари». Почитаю, что ли.

Шарль куда-то скакал.

Не в состоянии прочесть ни абзаца этой лабуды. Ничего про людей. Везде, где блестящий стиль, – ничего про нормальных людей.

Перелистнул страницы.

Вот Эмма уже умирает. Смакование каких-то подробностей про её необыкновенные гробы. Да какая разница, какой гроб, и сколько их!

Кстати, мне укололи только один раз. Попросить обезболить?..

Снова перебирать ногами заторможенно, будто шагая по планете с гигантской силой гравитации...

Все-таки приподнялся. Приоткрыв дверь, увидел в зеркале свое настоящее лицо, – худое, небритое, со слежавшимися волосами, складками под носом, как у спившегося рокера. А во сне я был прежний.

Совсем темным стало окно.

6

Работал телевизор, на штанге свисающий с потолка. Матерая санитарка сидела в кресле и качала ногой, вращая пепельницей по столу. Я узнал в ней ту, что когда-то готовила меня к операции и даже на меня орала.

– Извините...

Я раскрыл дверь, ожидая, что меня пошлют.

– ...ты думай думалкой, а потом болтай, – досказала медсестра без злобы какому-то мужичку, который тоже сидел рядом. Потом перевела на меня усталый взгляд. – Чего вам?

– Я из шестой палаты. Можно мне ещё обезболивающего? Кажется, забыли.

Расторопная, деловая, она постучала пальцами по столу.

– А где медсестга твоя?.. - она плохо выговаривала «р». - Как зовут?

Ещё раз взглядом обмерила меня, вцепившегося в дверной косяк.

– Посиди тут...

Уже то, что меня не отправили обратно во тьму искать дежурную, было счастьем. Я сел на раскладной стульчик за стол, покрытый дырявой клеенкой. Рядом со мной пухлый, лысоватый дядька всё так же зачарованно смотрел хоккей. Я про себя назвал его «Медбрат». Какой-то странный. Он не глядя хватал из пакетика кальмары и тут же погружал в рот, но многое падало по дороге. Его обвислый халат, который когда-то считался белым, был весь в мелком кальмаровом хворосте.

– Да ты садись, – он вдруг освободил для меня свое теплое, насиженное место возле ящика, и налил в стакан кипятку. Мы с ним поменялись местами. Я,

поблагодарив, откинулся назад негибавшей спиной.

– Хочешь? – он сунул мне прямо под нос пакетик с морепродуктами. Из рта пахнуло кальмарами. – Угощаю!

Я взял одну хворостинку.

– Шайбу-то кидай! – неожиданно-громко крикнул он в телевизор.

В дверях подсобки появилась худощавая женщина в синем, сказала недовольно:

– Коль, ты с ума сошел? Я переключу, терпеть не могу эту хрень, – и глянула на меня. – Знаешь, молодой человек, это надо с лечащим врачом говорить... Иди-ка ты пока в палату.

– Ну, пускай он со мной посидит, – неожиданно заступился Медбрат, повернулся ко мне, и я в анфас увидел бледное лицо человека, похожего на гнома, с бровями домиком.

– Ну, посиди пока... – и слегка подсмеиваясь, медсестра под села к столу, будто мы родственники и собрались на семейный ужин. – Коль, когда нам лифты поставят новые?

– А мне-то откуда знать! – по-хозяйски ответил тот, почесав редкую бороденку.

В телевизоре крепкие мужики на коньках ускользали в раздевалку. Матёрая вернулась, и доброжелательно взяла меня за руку:

– Щас...

Вторая схватила захватанный телевизионный пульт, обвязанный изолентой, и нажала на кнопку:

– Сегодня ж фигурное катание!

Я вспомнил, что Катя, конечно, будет смотреть. Она его любит, особенно, когда болеет. Помню, она мне сама звонила и мы обсуждали все эти высокохудожественные номера. На экране уже кружились. Я встал и завис, глядя на танец. Меня не прогоняли.

– Колюнъ, будь другом, уточни, куда их дежурная делась...

Медбрат с неохотой вышел.

– Да его как за смертью посылать, Мариш, – сказала та, что помоложе. – И лифтер из него, как из меня...

Сорокалетняя, мужиковатая осторожно потерла глаза, чтобы не смазать с глаз дубленую тушь.

– Ну, а что ты хочешь? Его тоже пожалеть нужно.

– А что такое?..

Старшая устало пояснила:

– Он в детстве этим местом с горки на кусок арматуры налетел, – она схватилась ниже пояса. – С тех пор он... ну, как сказать... Не мужик. Мамы у него нормальной не было. Вернее, была, но такая, что врагу не пожелаешь.

Устроили с грехом пополам – тут, в лифтах убирает, смазывает что-то, платят копейки. Он же инвалид.

– Понятно, – сказала другая, дохлебывая чернящий кофе.

– А ты не знала? – старшая, закулив, открыла окно.

Медбрат деловито вернулся и отрапортовал:

– Сейчас подойдет...

Вскоре вошла Улыбчивая, которую я весь день не видел. Достала пачку со шприцом. Я снял штаны. Она уколола.

– Ну, вторую ампулу куда дела? – презрительно спросила старшая. – Здесь недодала, там передала... Ты понимаешь, чем это пахнет? – и выпустила дым, бессмысленно глядя в телевизор, где на льду кружились двое.

– Иди в палату, – безразлично сказала мне Улыбчивая, и сама ушла, хлопнув дверью.

Все на секунду замолкли.

– Ты бы слышала, как мы с ней вчера ругались, – переговаривались тетки. – Не дозовешься. Тоже мне, цаца. Ну, недолго музыка играла.

Я ещё посидел, чувствуя, как в мышце разливается тепло. Меня не прогоняли. Но мне уже было неудобно.

– Пойду...

Медбрат торопливо обтер пальцы о засаленный халат и протянул мягкую, будто из теста сделанную руку. Я ответил на его рукопожатие. Вдруг он задержал ладонь. Промолвил искусанными, красными губами, приподнимая бровь:

– С Богом, Федор. С Богом.

Мерцал квадратный экран. Пульсировал звук. На лед выходила российская пара. Я вышел из яркого света в темноту коридора, и встал, чтобы привыкнуть к темноте.

Двадцать минут без боли, кажется, мне подарили.

Побрел обратно маленькими, длиной с подошву, шагами. Постоял отдышаться. Коридор упирался в ночное окно: деревья молчали, метели не было. Ночь предстояла влажная и теплая.

31 октября.

Пятница

Как будто бутылка разбилась внутри и саднит, и ранит. И все же, эта рана была на краю сознания. Дядя Саша в темноте встал, громко шаркая

тапками, и сказал себе под нос:

– Клизьма, вроде, сработала. Пойду в туалет...

Я снова ненадолго уснул, когда в дверях опять появился он. Я увидел его сквозь дрему.

Он держался за дверной косяк, и растирал рукой грудь. Случайно захлопнул дверь и окончательно выбил меня из сна.

Два белых прожектора горели внизу, но лица его я не видел.

Он кряхтя, подошел, с шуршанием подволок мешки, будто прополз питон. И плюхнулся на кушетку.

И тут я понял, что он с усилием раздирает кожу на груди, как ребенок, которому не нравится рубашка, и он хочет её снять.

– Знаешь, что... Можешь...? – сказал он с трудом.

Я, не сгибаясь, медленно сполз с кровати.

– Помочь?

Он беспомощно склонился.

– Что-то мне... нехорошо. Душно мне, плохо... Пойдем-ка...

Я понял: в самом деле, что-то не то.

Теперь он тяжело втягивал воздух ртом, и, наконец, снова попробовал приподняться.

– Давайте, – решил я, сам не зная, как найду на это силы и куда мы пойдем. Взял его под локоть. Рука оказалась вся скользкая, липкая, холодная от пота.

Что-то не то.

Мы проковыляли пару шагов, я подтаскивал одновременно свой и два его дренажных мешка.

Открыл настежь дверь, там посвежее.

Вдруг Фомин перестал шаркать, остановился, как в столбняке, мучительно вздохнул. И задышал тише, тише, будто что-то гасло.

– Дядя Саша...

Он как-то обмяк, я уже не мог его удержать. И вдруг обрушился всем своим весом мне на ноги, будто запутался в штанах. Седой головой уперся мне в колено, повалился прямо на многочисленные мешки, скатился на пол. Руки распались, как будто в безнадежной мольбе.

Он был в блескучем липком поту: голова, плечи, грудь. Лицо остановилось в одной гримасе, пронзенной, неподвижной.

Я в панике выволок из-под него свой мешок. Вылетел из палаты в коридор. Горел светильник на секретере. Но опять, как назло, никого не было, только вдали спали больные.

– Помогите! – закричал я.

Я забарабанил в первую, ближайшую дверь, дернул её. Запечатанная.

– Там человек умирает...

Ещё одна. Закрыта. Третья.

Запутался в мешке, перебегая от двери к двери. Квохтало сердце.

– Помогите!

Где вот эти, которые делали мне укол, где Царь этот, или как его, где Арутюн?

По наитию побежал, на пределе сил, туда, где была Ординаторская.

Нажал на ручку. Открыто. На диване в полутьме дремал незнакомый мне парень в халате. Вопросительно обернулся, нащупал очки.

– В шестой. Фомину. Плохо...

– Юля! – крикнул он, и Улыбчивая появилась из соседнего помещения.

Они бежали впереди. Я запоздало брел за ними вслед.

По потолку палаты ползали тени.

– Фомин, ну, что же вы... Дуплится, что ль? – Улыбчивая как-то вяло похлопала дядю Сашу по груди, и разодрала пуговицы рубашки.

Замолкла, щупая пульс, склонилась, приставила ухо ко рту.

Гаркнула парню:

– Зайцева зови!

Раздвинула рот дяди Саши, стала вдыхать в него воздух. Его грудь резко вздымалась, и живот тоже возвышался и опадал.

Он будто бы дышал.

– Вставайте, Фомин, ну! – и обернулась к помощнику. – Свет включи.

Бегло вмяла пальцами возле кадыка, обхватила шею.

Подняла глаза с безнадёгой.

Все облил яркий свет.

Парень вытащил из чемодана хобот с резиновой грушей:

– Беги за Сергеичем, – сказал он яростно и отдельно. – Я его буду вручную продыхивать.

Он выхватил простынь с кушетки, скрутил, сунул дяде Саше под спину.

– Мокрая вся... обоссанная, что ли...

– Да клади! Жми, я попробую...

– У тебя сил не хватит, быстрее, говорю, иди!

Парень мнял ему грудь. Вдувал в рот воздух. Грудь Фомина ритмически сокращалась.

Я почти не смотрел. Впечатался в угол бывшей Мишиной койки.

Видел только модные бакенбарды парня, его напряженное лицо с набухшими ноздрями, а внизу раскинутые руки Фомина, крепкую, качающуюся голову на полу, хилые ноги в семейных трусах...

Наконец, вбежал доктор – утомленный, серьезный. Упав на колени, он вдавливал до хруста кулаком в грудь Фомину, там, где было сердце.

– Зрачки такие же, – сказал он, поправив запотевшие очки.

Молодой приставил к лицу маску, прилепил её к лицу дяди Саши разлапистой ладонью. Пыхтела груша.

Вдруг главный сказал:

– Заткнулись все, – и припал ухом ко рту.

Настала тишина.

Я с трудом задержал сбившееся дыхание.

Капало за окном.

Врач отвернулся, сел. Посмотрел на часы. Сестра стояла рядом. На полу валялся разваленный синий чемодан.

Ноги Фомина были неподвижны.

Врач приставил телефон к уху:

– Слушай, Петь, у нас бэ у...

Вышел в коридор, вяло базаря с кем-то.

Я сидел на краю кушетки. По спине бегали мурашки. Знобило невероятно.

– Отвернись, не маячь тут, – сказала мне Улыбчивая, сминая в резиновых руках упаковку из-под ненужного шприца.

Я лег на голый матрац Мишиной кушетки и уперся лбом в стену. Слышал, как переступают ноги, как чем-то гремят. Кто-то уходил. Кто-то приходил. Кто-то заглянул внутрь, шепотом спросил: «Чё, откинулся?» – «Помолчи...», – цыкнул другой, и тот замолчал.

Шуршали бумаги. Пришли ещё. Принесли носилки. Обсуждали, как лучше положить, как подвязать, где подписать чернилами, что нужно прикрепить к ноге и указать на бирке.

Я мельком увидел в последний раз обвисшие руки и колышущийся сине-желтый живот, полунакрытый простыней, сдвинутые носками друг к другу ноги, когда его уносили.

У подножья дверей светились две луны прожекторов.

Старшая, мужиковатая, появилась откуда-то и шепнула другой:

– Утром прогенералишь здесь. Сейчас протри и всё – в пакеты...

Потом ушла и она.

В палате остались только медсестра и я.

– Напугали тебя, да? – сказала она, храбрясь. На лице была тонкая, странная улыбка.

Я сидел на койке и трясся мелкой дрожью – боль никуда не ушла.

– Нет, – выпалил резко, чувствуя, как в животе колют ножницами.

– Спи давай.

– А где здесь снотворное, скажи...

– Вот же оно, – она ткнула пальцем в очередную горошину и, вдруг заметив, сгребла соседние таблетки Фомина с блюдца в пригоршню.

– Ладно, – сказал я, вернулся к своей койке и повалился к стене.

Положил сладкую таблетку за щеку. Рассасывал.

Когда я обернулся, то увидел, что Улыбчивой тоже нет.

От кушетки Фомина остался один скелет, на ней не было матраца, только сетка, и сама решетчатая кровать развернута была поперек, как разбитая машина, которую занесло. Я бы заснул – просто жажда беспамятства – но боль внутри озверела.

Забытая лампочка ярила в лицо, била сквозь веки, крушила стену непереносимым светом. Белая до боли, лампа замыкалась крепким патроном, жгла глаза. Витал тошнотный уксусный запах.

Зрение превратилось в палитру с желтыми беспорядочными мазками. В этой абсолютной тишине до меня наконец дошло: его больше нет.

Никто этого не произнес вслух. Может, унесли в реанимацию? Там, за дверью, помогут?.. Опять ничего не сказали.

Снова сел, высвободившись из простыней, свесив ноги и мешок с кушетки. Холодно очень. И не плачется. Мы все, все – маленькие, и душа у меня маленькая.

Мог ли я хоть что-то сделать? Когда дядя Саша уперся в меня своей седой головой? Или поздно было? Или была возможность, а я, как всегда, стормозил? Надо было сразу заметить. Сразу.

Я недостойн был здесь присутствовать. Видеть это унижение, беззащитность, безволие, будто он сдался...

Кто я такой, чтобы это видеть?

На моем месте должен быть кто угодно – жена, дочь, но не я.

И хорошо, что свет горит. Иначе слишком страшно.

Дрожат коленки. Совсем себя не контролирую. И при этом полная тупость.

Я навалил на себя байковое одеяло, упрятался в него, как в берлогу. Снова были рези в животе. Мысли не задерживались, улетали, как жаркие газеты над костром. Сейчас почти невозможно поверить, что наступит завтра и другие люди. Трудно вообще поверить в жизнь.

Высунулся из-под одеяла. Смерть занимала собой все вокруг, росла, становилась кубом по размеру палаты.

За окном было очень темно.

2

Медсестра мыла пол, стуча шваброй об углы. Невыносимо несло свежим маринадом, что ли. Передвинутая кушетка стояла впритык к моей. Всматриваясь в черную сетку, я не сразу вспомнил. Какую-то секунду это было просто утро. Но вдруг всё вернулось.

И теперь душу скрутило.

Улыбчивая, которая сначала делала Фомину искусственное дыхание, а потом сказала мне «спи», теперь, на заре, закрепив усталые волосы резинкой, остервенело елозила шваброй. Какой-то стыд заставлял теперь молчать и меня, и её. Только когда она подошла вплотную, я увидел, что у неё красные, пустые глаза.

Я пошатываясь, вышел в туалет. Долго, мучительно приседал, спиной отвалившись на старый бачок. И впервые нормально оправился.

Но когда я поднялся с унитаза, вдруг увидел в углу, возле мусорки, одинокий дядин Сашин войлочный тапок. То есть, уже тут, в туалете, ему стало так плохо, что он ничего не соображал, вернулся босиком в палату... Или этот тапок просто выкинули? Недобросили? И теперь он так и будет здесь лежать?

Все это замечал уже кто-то отдельный от меня.

В курилке напротив стояла Улыбчивая, перенеся центр тяжести на одну ногу. Оперевшись о батарею рукой, она смолила, отставив палец. Шевелила губами, как всегда, щупала что-то во рту. Затушила окурки туфлей. Глянула на меня с каким-то презрением, как хулиганка на отличника, будто я вторгся в её личное пространство.

Я ушел. Открыл дверь в опустевшую палату.

Утренний свет солнца, какого давно не было, сочно, медово наполнял стекла. На полу пластался расколотый плазменный квадрат, двойник окна. Солнце на стенах то появлялось, то исчезало, трепыхалось, меняло углы. Лучи блестели и играли в зеленых бутылках из-под боржома.

На зеркале лежал желтенький помазок. Огромный пятилитровый жбан с водой, смятый, пустой, кристально синий, всё так же валялся возле тумбы. А на тумбе была *его* бумажка-памятка: «Выпей. Обед, ужин».

Я уселся на матрац. Дренаж кошкой лег под ноги.

Боль лютая. Но её впервые можно вынести. Я вроде как чуть-чуть сильнее её.

Вот так когда-то затягивалась рана на разбитой коленке, если свалился с велика. Когда-то, в другой жизни. До прошлой ночи.

Тяжелая голова Фомина, падая навзничь, снова и снова безвольно упиралась мне в ноги, безжизненно рушились руки, а я не помог. Побег, помоги.

Перекрестился.

Капало с крыши.

Блестки искрились, стекали по стеклу.

Неужели правда меньше болит?

Не верю.

Слой снега на подоконнике подтаивал. И по нему плясали, оттапливая его, капли. Вокруг стоял прелый запах мокрой штукатурки. Стены были намазаны чем-то дезинфицирующим, пахли уксусом, и сохли теперь.

– Пап, а что такое «бэ у»?

Он подумал.

– «Больной умер»...

– Да, – я схватился за голову.

Он смотрел на скелет кушетки, и сказал без обиняков:

– Сердце не справилось, очевидно. И, видимо, всё к тому шло. Он очень слабый был. Видел ногти его? Выпуклые, как лупы, и синеватые. Так у сердечников бывает. Это, конечно, задним умом... В общем...

– Угу...

Сидели вдвоем, и просто молчали, как редко когда.

Но вдруг на пороге появилась женщина.

Пожилая, в ушастой беретке с закрылками. В руках у неё была сумка с надписью “Wellness”. Она рассеянно кивнула мне, и бессмысленно посмотрела на сетчатую кровать. Я не хотел её узнавать.

Но это была жена Фомина.

Стало совсем тихо. У меня загуляли руки. Охота было зажмуриться, стечь в канализацию.

– Простите, – сказала она, оглядываясь, громко и гулко, и застыла в непонимании, не ошиблась ли.

И я понял, что она ничего не знает. И сказать некому. Папа с ней незнаком. Но ведь и я.

Ужасней всего тянуть резину. Я понял, что надо решиться.

– Ночью... дяде Саше стало плохо, и он... Я точно не уверен! Но... он... понимаете, он... Умер...

Я выдавил из себя эти слова, готовый провалиться сквозь землю.

Она покачнулась и только охнула, и стала молчать.

Я подумал, что она сдержалась, или всё-таки знает. Но вдруг пробились рванные рыдания, как будто вылезли страшные пружины из подушки.

– Санечка, Санечка, Санечка...

Папа подхватил её, усадил на бывшую Мишину койку.

Услышав вопли, вошла медсестра.

Тронула её за плечо, повалившуюся, дрожащую, склонилась, и стала успокаивать с каким-то нетерпением:

– Не надо. Давайте не будем здесь. Пойдемте. Это естественный процесс...

Та махнула рукой, полулежа, уткнувшись в матрац, содрогаясь, сбиваясь на кашель.

– Он же человек-то... безвинный... – шептала она.

– Не торопитесь, – сказал папа медсестре.

Та помолчала, и снова подступилась, споткнувшись о сумку, заговорила деловым тоном.

– Сейчас вы можете обо всем договориться. Вещички личные. Есть люди специальные...

Фомина схватила, обняла папу, чтобы хоть за кого-то держаться. Вздрагивала перетруженная, квадратная спина. Плач клокотал внутри, душа превратилась в плач. Слова не помогут. Надо просто кому-то быть рядом. Рядом должен быть Фомин.

Когда они втроем ушли, закрыв дверь, я вытащил из пластиковой коробки котлету, остервенело запихнул её в рот и проглотил.

Сидел, утирая сопли. Нелепо. Смерть нелепа. Вот она, нелепая смерть.

Спустя какое-то время жена Фомина вернулась, открыла ящик в тумбочке. Там лежали очки без дужки и какая-то книжка.

Она с усилием впихнула заевший ящик обратно. Достала из шкафа кожаную, обвислую куртку, штаны с подтяжками. Бережно, заторможенно сложила все, что было, в сумку, снова села, широко расставив ноги, растирая грудь.

– Вы знаете, дядя Саша мне очень помогал, – сказал я, приподнявшись, – Душевный был человек...

Она кивала, роняя слезы, и я понял, что чем больше буду болтать, тем большее будет. Были бы такие универсальные фразы, вроде мыльных пузырей: говоришь, а они растут и расширяются. Некоторые их умеют говорить. Хоть бы кто научил им.

– Давайте я вам помогу, – сказал папа.

– Мне не надо, – скромно сказала она своим молодым голосом. – Мне бы только встать. Как ноги отнялись. До свидания...

С трудом поднялась, и, наконец, ушла совсем.

Больше я её не видел. Теперь навсегда тот, кто сказал, – это я...

Папа ещё посидел, и потом ушел.

Мне казалось, что я бесчувствен, и это защитная реакция. Но к вечеру навалилась тоска.

Я сгрыз горошину снотворного, которую хранил про запас, и которое, как я прекрасно знал, не действует, как, впрочем, и обезболивающее. На тумбочке лежали кассеты и плеер. На подоконнике целый день валялись газеты. Я не мог пачкать руки.

Только чувствовал, как внутри поднимается температура.

На стенах почти пустой палаты плясали солнечные зайцы. Потом смерклось, всё стало синее-синее, и потемнели стены.

Щелкнув, от ветра выскочил дряхлый шпингалет. Со скрипом открылась верхняя, продольная, большая форточка.

Медсестру не хотелось видеть. А я ей был пофиг.

Я медленно привстал, зябко ежась. Зачем-то открыл ящик Фомина. Увидел там книжку, никем ни разу не читанную: «На суше и на море. Повести, статьи, рассказы, очерки». Какие-то фрегаты, качая мачтами, по которым взбегали юнги, плыли куда-то на зюйд-вест.

Ящик окончательно застрял. Я стоял, собирая силы.

Папа сегодня что-то рассказывал про свое родное Иван-озеро, про деревенское отношение к смерти. Никто ведь не знает, где именно могила деда и прадеда. Просто есть угол на кладбище, в котором хоронят всех родственников - без табличек, без плит.

И ещё он говорил, как на его памяти мужики шли за много километров в другую деревню, по пути опились дешевым спиртом, один умер, его закопали по дороге, и все остальные пошли дальше...

А ещё папа вспомнил любимую поговорку медиков: «Вы делаете вид, что вы нам платите – а мы делаем вид, что мы вас лечим».

Но у кого хватило бы сил всех оплакать?

Ни у кого не хватит.

За окном, внизу, качались от ветра деревья. Я подумал, что, может, попробовать самому закрыть эту форточку. Огляделся. Где-то должна быть специальная палка для закрывания, но её не было... Привстал, потихоньку забрался на подоконник. Подтянул дренаж, с усилием дотянулся до щеколды.

От окна повеяло дождем и прохладой. Сеялся мелкий ночной дождь, теплый снег, падал отвесно вниз. Возле далеких дверей магазина одиноко горела лампочка в оплетке.

Если сейчас сверзиться с подоконника – костей не соберешь.

Боль скотская, конечно. Но она выносима.

Кряхтя, я захлопнул форточку, вдвинул щеколду.

Лег обратно.

Все это заняло минут десять. Но это я сделал сам.

Уткнулся носом в стенку. И только потом удивился.

1 ноября.

Суббота

...Внезапно дверь впустила людей в шуршащих бахилах, будто шевелила лапками гигантская сороконожка. Загорелся жесткий свет. Незнакомая пухленькая медсестра, бежавшая впереди процессии, торопливо бросила матрац на сетку и в три движения застелила бывшую койку Фомина.

В палату вкатили худое тело. Это был пацан лет тринадцати, от силы четырнадцати. Голый, тонорукий, он был полузавернут в простыню.

Расслабленного перетащили на кушетку. Он был готов повторить все изгибы и склоны того места, куда его положат, настолько был изнурен.

Но санитарка расшевелила мальчишку, подставила утку. Тот молча помочился. Потом, скривив лицо, будто от оскотины, сплюнул в канистру со знакомым мне омерзением.

Они выключили свет, ушли и плотно закрыли дверь за собой.

Вначале было тихо. Пацан, казалось, лежал без чувств.

Но вдруг тихо всплакнул. Потом стал брыкаться, болтать ногами.

Я испугался: вдруг это что-то необратимое. Но оказалось, он просто отталкивал ногами серое одеяло. Сбил его на пол. Громко откашлялся, и наконец сипло сказал:

– Эй...

Я всмотрелся в темноту. Подросток, смуглый, угловатый, похожий на маугли, изучал меня. На лице была нервная гримаса.

– Здорово, – откликнулся я и тут же отвернулся.

Он снова стал подвывать через равные промежутки времени.

– Медсестру позвать?

– На к... кой она мне, – ответил он вдруг, заикаясь от озноба, помолчал и опять захныкал в тишине. – Аппендицит вырезали... прикинь? Я как нарик. Ширнули, теперь отходняк. Всего трясет...

– Понятно, – грустно сказал я.

– Чё те понятно? – спросил он с наглостью.

Я начал раздражаться. Сказал громко:

– У меня то же, что и у тебя. А может, и похлеще.

Он процедил:

– Го... ворили: «острый живот», «острый живот». Чуть не угробили, ссуки! Порезали. А мне ещё жить и жить.

Наконец он замолк. Спрашивать больше не хотелось. Я понадеялся, что на этом цирк закончится.

Но тут пацан заголосил во все горло, как подросток из колонии, поющий жалостную песню.

Ладно я – моя бессонница безнадежна. Но он же все отделение перебудит.

– Мне сеструха за... запретила спать, – сказал он в пространство.

– Надо слушаться, – я подался вперед. – Не спи, понял? Только тихо.

Юркие зрачки блестели в темноте.

– Пох! Буду спать, – звонко сказал пацан и устроился поудобнее на подушке, попрыгав по ней щекой.

Но спустя минуту снова потянулись невыносимые стоны, будто его пытаются. Я накрыл голову одеялом. Но и там, в укрытии, слышал его ломкий голос:

– Слышь, тебя как зовут?

– Ну, Федор.

– Меня – Кирилл. Поговори со мной.

Это могло показаться трогательным. Но ведь четыре утра. Однако парень тут же начал молоть какую-то чушь:

– Во рту как будто понос... Я и так-то доходяга, а тут вообще кобздец... Я забыл, тебя как зовут?

– Федя меня зовут.

– Меня – Кирилл... Вишь, я как пьяный... Ни... ничё не воспринимаю... Зубы стучат... Слышишь?

– Слышу, слышу. Давай немного помолчим.

Вдруг Кирилл и вправду замолк. Сначала я подумал, что он обиделся. Потом вздрогнул от догадки: вдруг ему стало плохо, и...

Я приподнялся, всмотрелся в темноту.

А он просто спал, мерно сопя. Наступало утро, и в полумраке я увидел его тонкое плечо с кружочком прививки, худое лицо со вздернутым носом, с пробивающимися усами и родинкой над верхней губой.

Повязка, набухнув, белела справа, внизу живота.

Он промямлил, не открывая глаз:

– Укрой меня. Знобит – пердец какой-то...

Он и правда трясся мелкой дрожью.

– Что ж тебя так, – удивился я, будто со мной такого никогда не было.

– Ага, шибздец...

Я вернулся, подтянул сползшее на пол одеяло, и Кирилл окончательно уснул, безмятежно дыша, как младенец.

Два положенных часа прошли. Скорей бы отключиться, пока он опять не восстал. И от этой мысли – прислушиваясь: не ноет ли он там? может, позвать кого? – я не мог сомкнуть глаз.

Все лежал, водя ладонью по холодной шершавой стене.

Под фонарями висели сосульки, похожие на непонятный хай-тековский аксессуар, и светились неоновым светом. Было темно и рано.

– Поворачивайся, – сказала Кириллу медсестра, маленькая, с коротким каре.

– А вы меня переверните, – ответил он. Под глазами были синяки, но зрачки бегали – заведущие, лукавые, и вдруг мелькнула открытая бесхитростная улыбка. – А лучше через полчаса зайдите. Роли не играет...

– Ну, мне что, старшую позвать? – сказала пухленькая без злобы. – Я могу.

Кирилл, стоная, подставил зад.

– Мля... – он оглянулся с хулиганским видом. – Ничего, что матерюсь? Больным ведь можно, – и вдруг неистово застучал ладонью по пыльной кушетке, заблеяв. – У, прижгло!.. прижгло...

Медсестра ушла, отколов и мне положенное. А Кирилл всё шипел, потирая ягодицы:

– Аж ж...а горит. У меня же порог боли нарушен! – он будто признался в страшном недуге и с ненавистью посмотрел ей вслед. На глазах выступили слезы. – Слышь, Федь. У тебя там на тумбочке сок, нет? Я прав? Подкинь, а?..

– А можно его тебе? – сказал я серым тоном.

– Да ты не кипешуйся. Я пару глоточков.

– Хоть упейся, – добродушно ответил я, и бросил ему пакет.

Кирилл отхлебнул чуть-чуть, одобрил:

– Во реал! Ничё, что из горла?.. – и он опять приподнялся на локте. – Федь, ещё такая просьбишка будет. Ты мне горшок не дашь? А то руки уже не действуют с этим наркозом.

Я приподнялся и сунул ему пластмассовую бадью.

– Везет тебе, Федул... ходить можешь... А я...

Он лежал на том месте, где раньше был Фомин. Новый человек, который ничего не знал о старом.

А моя боль – такая же, как у Кирилла, только уже без натиска.

Хотя, чувствует сердце, если дать этому пацану волю, он на голову залезет и ножки свесит. Но ведь ему и правда тяжело. И стены у нас одни.

3

Арутюн блестел сияющим лицом:

– Что ты на меня так смотришь? Врач – не враг.

Кирилл ответил доброжелательной, детской улыбкой. Но тут же в выражении лица мелькнуло что-то ушное и двойное.

Потом врач подошел, подцепил пальцем мою повязку и спросил, по-южному скрадывая шипящие:

– Что, боец, болит ещё?..

– Меньше, – ответил я без особой радости.

– А ты разминайся. Бери этого друга, – он оглянулся на Кирилла, – и ножками. Температурка, вижу, ещё держится... – он на секунду обхватил

мне руку.

– А трубку вынут – когда?

– Дренажик извлечем, ушьем, и... – обтекаемо сказал Арутюн. Он перешел то ли на бормотание, то ли на песню и хотел уйти.

– А когда точно? – я почувствовал, что у него хорошее настроение, и осмелел.

Арутюн терпеливо вернулся. Склонился ко мне. Но улыбка сошла.

– Ну, чего ты торопишься? – сказал он, как бы увещевая. – Знаешь, что у тебя было? У тебя нехорошо было. Ты не торопись. Кирилка, на перевязку!

– В плане? – испуганно переспросил тот.

Но Арутюн исчез.

Пацан прикусил губу:

– Слышь, тебе перевязку делали? А то мне чё-то ссыкотно...

Я хмыкнул:

– Это нестрашно совсем.

Кирилл хотел впервые сам подняться, но тут же зашикал, закричал, опять блеснули слезы на глазах.

– Встать не могу, – надломленно шепнул он, и добавил, как будто сожалел. – Не будет перевязки...

– Ты резче, не тяни резину, – посоветовал я.

Кирилл долго примеривался, и наконец со злобой оттолкнулся от стены.

4

Не было ничего, кроме музыки, пульсирующего голоса ирландской певицы, барабанов и бесхитростной гитарки. Единственное обезболивающее, которое хоть как-то функлирует.

Но вдруг мне вспомнилась его смерть, и на секунду всё опять предстало кошмарным сном. И музыка в палате сразу стала кошунством.

Нажал на «стоп». Пленка в плеере замерла.

Надо пытаться найти слова. Рука забыла, как их выводить. И ручка почти не пишет, засохла. Я взял измятую тетрадку. Только теперь заметил, что на зеленой обложке сестра Маша когда-то написала: «Анкета».

Я стал беспорядочно, с усилием писать поверх клеток.

Боль не выразить, не передать... Жизнь одновременно проста и сложна, невыносима. Культура в момент боли сокращается до крика, становится непозволительной роскошью. Вот и сейчас пишу – потому что отпустило. А вступит опять – буду только мучиться и молиться. Те, кого по-настоящему допечет, кто в самом деле на краю, молчат, сжав зубы. Поэтому мы ничего не знаем о боли и горе до тех пор, пока не доведется испытать их на

собственной шкуре. Понять чужое – не получается.

Смерть неприлична. Проста, как грабли. Все остальное кажется в её близи – видимостью.

У больных юродство в крови. Раньше я мог переживать из-за растянутой ширинки. Теперь – смешно. Чужие взятки и чужой блуд, новости, самооценка, сумочки, автомобили, тату... Миллионы песен о влюбленности – и ни одной о боли! Мы расширяем до вселенной количество мнимостей, потому что о важном можно только плакать.

«Ушел из жизни». Есть куча подобных выражений, а настоящих слов почти нет. Как описать трехмерный мир, если всю жизнь провел на плоскости?

Шрам затягивается, только трубка ещё торчит, ещё саднит.

Неужели и я когда-то это забуду, как забыл свое рождение?..

– Ну, вот и похавали, считай. Акимельку ещё возьму.

– Бери. Только тихонечко, ладно?

Зал ожидания в аэропорту. Я открыл все чемоданы, свалил в одну кучу штаны, носки, бумаги, побросал их на сиденья. И раскладываю пасьянсы, не думая, не гадая, что самолет уже прибыл, он здесь, за стеной. Вдруг объявляют посадку, я хватаю сумки, запихивая в них все что ни попадя, бегу в коридор. И понимаю, что не успеваю. И вещи не те. И нету билета.

Вчера я впервые услышал, как объявляют рейс.

– А сеструха мне в дырку спиртом капает, капает... Измывается... Ты не против, Федот, я ещё кисточку винограда съем? Только мамке не говори, а то она мне по ушам надает.

– Ты, правда, не особенно увлекайся.

– Знаю, знаю, а то пучить будет. Арарат Васгенович предупредил... У меня и так в животе ядерная война. Ем как салага... Ну, правильно, а то я похудел, верняк, килограмм на пять... Сил-то нету!

– Хорошо, хорошо. Иногда лучше жевать, чем говорить, знаешь такое?

Больной воспринимает помощь как данность. Хоть кто-то вместе с тобой затыкает бреши в закрытом трюме, когда его заливают вода. Тут не до благодарностей. Но ведь это твой трюм, и влезть в него вместе с тобой – значит, самому быть затопленным. То есть, почти самоубийство. Ощутить чужую боль как свою! Ни одна профессия этого не вместит...

А если тысячи таких, как я? Каждый день?

Вчера, если б ты был повнимательней, заметил, что у Улыбчивой болит спина, у неё сильнейшие линзы, они режут глаза, а, может быть, частые головные боли, наверняка не все в порядке дома, и глупой этой улыбкой она прячется от обступающего её ужаса. Шла в профессию – помогать. А тут, оказывается, от неё требуют, в сто горл орут о помощи.

Но я презираю её за её безразличие, потому что в этих условиях она –

тот, кто жалеет, а не та, кого жалеют.

Но ведь Улыбчивая не биоробот. И никто не биоробот.

А знаешь ты что-нибудь – по сути – про своих друзей? Про родных не говорю, тут ты не знаешь ничего. Как же хочется всех понять, всех обнять.

Ну, а про дальних – что ты знаешь, чтобы о них судить? Про того парня, поющего попсу набегу, над которым ты всегда стебался? Или про Лиду? Или про Женю? Или про Севу?

И уж совсем ничего про Катю, про её жестокость, и почему...

– Ни фиги себе у тебя в сумке! Гноя до хренища! Ты тут сколько лежишь? Пятый день?

– Вроде того.

– Некруто. А знаешь, в натуре, чего хочется? По чипсам вдарить. У тебя чипсов нету?

– Кирилл, нет у меня чипсов.

– Кстати, баба на первом этаже говорила: у тех, кто с гнойным аппендицитом, ещё где-то тридцать процентов боли – это когда трубку достают. Будет ваще пипец! Так что готовься.

– Ну, и зачем ты мне это говоришь? Думаешь, приятно слушать?

– Ладно. Я чисто поржать. А семки? Слышь, семки есть?

– Нету!

В нашей жизни все – последовательность. Потом. Затем. А что после ЭТОГО? Здесь нельзя сказать «переживем». Движешься навстречу, а потом тебя утаскивает какая-то центробежная сила. Переход оставляет воронку, круги, муть в душах тех, кто здесь. Трудно расставаться. Жалко. Но главное – прыжок.

Смерть не вмещается в сознание. Огромная гора поглощает зрение. Рождение и смерть. События – Эвересты. Надо жить так, чтобы каждый шаг был шагом вверх. Так не бывает, но это кажется очевидным. Люди взрослеют рывками.

И все же, до чего я здешний. Все, что знаю о смерти, – глюки, тяжелые, как тонны воды. Да и память о них слабеет.

Но как жить-то теперь? Как правильно использовать те гроши времени, которые у меня остались?

Говорить, что думаю! Вдохнуть, чтобы выдохнуть псалом! Рубить правду-матку! Не гневаться! Всех любить!

Человек уходит один. Но судят его по тому, как сильно он любил других. Рай – это другие.

Но что значит – любить? А что значит – не врать? И как при этом не причинять боль? Как быть предельно прямым – и никого не ранить суровой оценкой? (Но если другие лицемерят и врут, говоря о самых обыденных

вещах, в той же мере, что врал когда-то я сам – это же просто страшно, с этим надо что-то делать!) Жениться, чтобы рожать детей? Спрятаться в келью?

Если живешь, снова погружаешься в эти вопросы – и теряешь суть, добытую в катаклизмах и судорогах, когда ничего не было, кроме живота и острой боли...

Почерк стал ленивый, неповоротливый. Рука устала.

Чего я там ещё хотел записать?.. Ну, да, про пятна. Зарисовать их надо непременно.

– Слышь, – назойливо повторил Кирилл. – А вон тот желтый пакетик – это не чипсы?

– Что? – я тупо посмотрел на него. – Да нет же, ёлы. Нет у меня чипсов.

– Вон тот, цветной...

– Ты чё, издеваешься? – я начал с шёпота, но постепенно гневно распалялся. – Это сыр «Виола»! Хочешь – бери. Забирай всё! Достал! Помолчать минуту не можешь, постоянно трындишь!

Снова вступила боль. Принизила, пригвоздила. Заставила поморщиться, и прошла.

– Я чисто... – Кирилл растерялся.

И мне стало стыдно.

– Ладно, ладно... Что ты хотел?..

К счастью, в этот момент у него зазвонил мобильник. Был слышен неторопливый голос его мамы. Она сказала, что придет через пять минут.

В моей изорванной тетради осталась пустой только задняя обложка с таблицей умножения. Я стал зарисовывать чернильные пятна, увиденные мною тогда. Получались какие-то бесформенные ежи.

Стало смешно, но плакать больше не хотелось.

Я прислонил тетрадку к стене. Грустно отпустил её, и она завалилась под отставший плинтус.

5

Кирилл, шкерясь, бросил под кровать обглоданную виноградную ветку. Блондинка за тридцать, в тягучей шерстяной миниюбке, по манерам напоминавшая школьницу, процокала к кушетке на высоких каблуках.

– Мне так плохо, мам... всё достало... – заныл Кирилл, зажав большие пальцы в костлявые кулаки.

Она села рядом. Только теперь я вник, что эта женщина – его мама, с такой же, как у него, родинкой над губой, слегка надменным подбородком и длинными ресницами. Она деловито спросила:

– Как он себя тут ведет? – слышался приятный, хотя и прокуренный голос.
– Ничего, – сказал я, растерявшись.
– Понятно, – мать посмотрела на сына с укоризной. – Значит, отвратительно.
– Его Федя зовут, – пояснил Кирилл, ткнув пальцем в мою сторону с какой-то новой фамильярностью. – У него тоже аппендицит.

– Собрат по несчастью? – она кивнула. – Ну, Кирилка, значит, ты тут без меня не соскучишься.

Подошла и облокотилась на шаткую тумбочку, посмотрела в окно. В причёске была красивая заколка в виде тюльпана, с брызгами мелких цветочков. От неё пахло сладкими, однозначными духами. Я смущенно углубился в книжку.

– Где он там припарковался. Я с дядей Вадимом приехала.

– Посиди ещё, – заканючил Кирилл.

– Не могу, – мать сделала плаксивую физиономию, подогнув ногу на каблуке, и они стали ещё больше похожи. – Вадим ждёт.

– Ну, и пока, – Кирилл отвернулся с обидой.

– Ты не дуйся, – мать схватила его за щеку. – Сейчас была у врача: ещё три дня, и ты дома.

– Три дня! – протянул Кирилл удрученно. – Вот ж..па!

Но смотрел на неё по-собачьи верно.

– А чего хочется? – обернулась мать. – Вкуснятки тебе принесла. Вот грейпфруктик. Чипсиков чуть-чуть. Крекеров. Виноградика веточку. – Вдруг она на полуслове оборвала. – А выйди-ка на минутку?

– Чё? – Кирилл недоверчиво посмотрел на мать.

– Выйди, выйди, я с твоим другом кое-что обсудить хочу.

– Да я не могу... – в недоумении признался он наконец.

– Тогда уши заткни.

Она вздернула губы, взгляд чуть-чуть похолодал.

– Вы уж посматривайте за ним. Знаете, чтобы не хамил там, процедуры выполнял... Он у меня классный, хотя и хулиганистый, – она игриво повела шеей и одарила безадресным радушием. – Он у нас волчонок остроухий. Возраст такой, маму родную не послушает, а вас послушает. Ну, все. Покушай хорошенько, твой друг проследит, – мать прощально и величаво потрепала сына за волосы. – Всё, не могу.

Придержала слезы пальцами у глаз.

– Пока... – буркнул Кирилл в стену, взволнованно дергая ухо, как маленький.

Я увидел себя в глазах сестры. Она совсем по-другому предстала мне в этом

странном антураже. Взрослая такая.

С каждым шагом Маруся привыкала ко мне, я превращался обратно в доставучего и занудливого брата. Только с опаской поглядывала на дренаж. А папа все пытался меня поддерживать. Я отшатывался, хотел доказать, что в этом больше нет нужды.

– У Сашки ведь день рожденья, – припомнил я. – Подарили что-нибудь?

– Книжку про Пеле, он давно заказывал, – папа усмехнулся.

– А как эфиры твои?

– Сдюжил, – выдохнул он.

Я, повернувшись, неосторожно сдвинул дренаж. Боль внедрилась – дальним отголоском прежней. Но я перетерпел.

– А с врачами?..

– Говорил. Скоро, Федь...

– Суупер... – без особых эмоций сказал я. – Если кто придет, у меня на полке книжка лежит, «Шагреневая кожа». Библиотечная, старая такая. Надо прочесть, а то уже срок.

– Принесем.

Сестра чмокнула меня в небритую щеку. Папа похлопал ладонью по усохшей спине и зачем-то пожал руку. Смысл был не в том, чтобы поговорить, а чтобы повидаться.

– Помни, Маруся: почитай старших... – я поднял указательный палец.

– ОК, Старый Дед! – засмеялась она.

Ушли.

А я и в самом деле чувствовал себя каким-то стариканом. Но бодрым, американским...

Из кабинета, где мне когда-то вставляли зонд, доносились взволнованные окрики. Я старался не слушать. Переминая в руке дренажный мешок, беззаботно топал в палату вдоль облупленной коридорной стены.

7

Смеркалось. Кирилл опять дал волю своим тяжким думам.

– Уколов этих жду, как расстрела... Полчаса осталось... Щас нам, наверно, будет та же клуша колоть, которая утром. Как шарнет, к потолку подлетишь. Подготовиться надо! – и Кирилл заранее, с испуганным потер зад.

Он то и дело поглядывал на мобильник, комментируя:

– Двадцать минут до укола. С утра сеструха придет в полседьмого, а вечером тянет волюнку!

Тревожно прислушался. За дверью, громко разговаривая, прошла стайка медиков.

– Десять минут осталось... Сюда? П..дят там что-то. Во что бы вцепиться? Но они прошли мимо. Кирилл с облегчением утер лоб.

Я понял, что парня надо отвлечь. Истории у меня все какие-то грустные. Шутки юмора на ум нейдут.

– Хочешь, фишку одну покажу?

Я с треском постучал себе по груди, щелкнул пальцами и ударил в ладоши, затем распрямил одну ладонь, а вторая заметалась, стуча то о грудь, то о руку, потом хлопнул левой ладонью о правый кулак – и все это за две секунды.

– Ну-ка, ещё раз, – его заинтриговало.

Я снова изобразил фокус. Кирилл стал, сбиваясь, повторять. Я поскорей нацепил наушники, пока он увлекся всей этой самодеятельностью.

И вдруг экран моего мобильного осветился зеленым.

Я всмотрелся в цифры, и меня будто кипятком обдало.

Это был Катин номер. Как она узнала?

Что делать с этими трелями?..

Надо отвечать.

Сполз с кровати, искривленно поднялся и, места себе не находя, похромал к выходу. Нажал на кнопку.

И услышал её «привет». То, что она говорила далеко не всегда, даже если я шел ей навстречу в коридоре универа. Ещё одна изошренная издевка.

– Да, – сказал я, не в силах поверить.

– Это Катя, – и я узнал её голос, который прежде часто, а теперь так редко слышал. – Я от Ярика узнала, что ты в больнице. С тобой все нормально?

Я весь перед ней, вылепленный из сырой, неопрятной глины, вылезший из небытия.

– Все чики-пуки! Было не очень, но сейчас... – я судорожно пытался казаться галантным в своей пропотевшей майке, ероша взмыленные волосы. Катя смотрела на меня карими, темными, радужными глазами.

– Ну, хорошо. А то я переживала.

– Неужели? – переспросил, и испугался, что это прозвучало как ерничество. – Спасибо, Кать. Спасибо тебе. Может, на следующей неделе увидимся? Ведь так?

– Посмотрим, – сказала она негромко, на грани слышимости, но за голосом возникало лицо, фигура, рыжие короткие волосы, другая квартира, и будто иной вечер. – Все правда в порядке?..

– Ну да. Абсолютман... – сказал я и не сказал больше ничего. Переполюнявшее сердце перло из груди.

– Славно. Выздоровливай, – она как будто спрашивала: «всё?», но ещё не повесила трубку.

– Пока.

Первым нажал на отбой.

Подтянул мешок, прошел пару шагов. Торжественно ухмыльнулся.

Переживает?

Глупости.

Но голос.

И всё, против воли, вернулось. Конечно, я не готов к серьезному разговору. Никогда не бываю готов.

...Привести комнату в порядок, включить настольную лампу, убрать с бельевых веревок свисающие носки. Это будет мешать говорить. Всё будет мешать говорить, когда она смотрит в тебя.

Есть в этой привязанности что-то стыдное. Как боль дворняги, которой машина переехала хвост. Снова ждать полгода, когда она случайно и мягко положит руку тебе на плечо, передавая кому-то чай...

Всегда хотел понять её смятение, её грусть. Никогда не получалось. Было время, когда я не мог говорить ни о ком, кроме неё, как мономан. Даже с Севой.

Обижалась.

Наконец, я её раскусил. Она знает, что самое пленительное – не расстегнутые пуговицы, а исчезновение. Это её стиль. Но от этого не легче. Я слишком её люблю. И чем больше бесплодных попыток – тем сильнее надежда.

Подтянул дренажный мешок. Прошел ещё полтора шага.

Карабкаться, как сумасшедший, к умной, жгучей, которая ранила тебя своей нелюбовью – а ты в ответ неловко обидел её.

А вот теперь позвонила. И снова душа, как вата в огне.

Всё это тысячу раз проходили. Я ведь теперь другой.

Но почему опять слетаю с катушек? Почему так хочу быть с ней рядом? И сердце какое-то школьное...

Я прислонился к темному стеклу. Лицо покраснело, зарделось. Лихорадочно думал о ней. Точнее, не мог не думать – сквозь тихую боль, сквозь бахрому заживающей раны. Опять нагнал себе температуру.

Хва.

Но почему это – «переживала»? Отчего это, Катя, если тебе пофиг, ты каждый раз «переживаешь»?..

Пришла бы в больницу, апельсинов принесла. Я бы мог тебе столько рассказать. И поговорить с тобой, о тебе, и о твоём прошлом, совершенно иначе. Кто выдумал мобильник, эту иллюзию, что можно быть далеко, и что-то кому-то объяснить!..

Но ведь позвонила. Большого и не надо.

Подволок себя к зеркалу. Дыхнул на стекло, протер.

Выпирающий кадык. Синяки под глазами. Сутулость затурканного болезнью человечка. Я ж забыл, как выгляжу. Нет уж, не стоит. Не приходи.

– Без двадцати, – Кирилл победоносно посмотрел на часы. – Забыли! Ну всё. Мне по... И ты не зови. Ихняя работа. Обязаны сами кольнуть. Утром – ты видел – я спал! А сеструха мне – вещества так – х..як, пакетик – х..як, и вколола! Ничего святого нет. Ну, я ей отомстил. Я пернул. Прямо ей под нос! Ха-ха!.. Обидос!

В этот момент медсестра вошла и неумолимо зашуршала своими пакетиками.

Кирилл замолк, посерьезнел, повернулся, накрыв голову подушкой, и заранее заорал в матрац:

– А-ыыы...

Стон перешел в песнь – угадывались позывные мобильного телефона. Потом Кирилл вытянулся, резко открыл рот, заглатывая воздух. Медсестра хлопнула его по заднице:

– Да хватит дергаться. А то больше будет, – и сделала вторую инъекцию с обезболивающим. – Я тебе завтра шарики воздушные принесу, чтобы ты надувал. Это тебе полезно.

– Вот так я точно...

Она ушла. Кирилл сделал кислую мину:

– Щипление какое-то. У тебя тоже?

– Наверно...

– «Наверно». Ну, конечно, тебе легче, ты меня старше, к тому же у меня ж... новая. Протяни мне ревит. Вон, витаминки на тумбочке... Силы нету совсем! Надо силы... Котлетосов бы таких, как у тебя в коробке, штук десять... – он взглянул на меня насмешливо. – Чё-то ты мрачный, как зомбак.

В окно смотрело оспистое лицо луны. Внизу блестели ветки тополей, на которые налипал свежий снег. Мир несся куда-то. Хотелось в него вернуться. И снова встретить её в коридоре.

– Кирилл, я нормальный. Бери котлету и ложись спать.

– Я и так лежу. Мне больно... – и он искренне заплакал.

– На... – я с трудом опомнился и передал ему коробку с последней.

– Живем! – он щелкнул пальцами, и неловко разломил котлету пластмассовой ложечкой. – Тебя, небось, выпишут скоро.

Кирилл пожевал.

– А мобильник не дашь? – вежливо улыбнулся он. – А то я свой уже проорал. Денег нету. Маме позвонить... Интересно, кого на твое место положат? – сказал он мечтательно, подпрыгивая на вмятой кушетке. – Небось, бабушку какую-нибудь, которая впала в детство...

– Забудь, забудь, забудь, – я закрыл рукой глаза.

– Чего?

– Ничего, – сказал я. – Спи. Зубами к стенке, Кирилл.

Небо низкое. За окном темень, и дождь со снегом, бесконечный, занудный, уютный. Спать хотелось до такой степени, что уже и не спалось.

– Ты не против, я ещё децл поговорю? – шептал Кирилл. – Понимаешь, я болтаю, и мне легче...

– Да говори...

– Интересно, почему мурашки в определенных местах? По спине, по животу?

Внезапно медсестра раскрыла дверь, снова озарила светом палату, и, встряхнув простынь, застелила третью койку.

Мы замолкли. К нам ввезли парня, который полусидел на носилках, большой, широкогрудый, с голым торсом.

Медсестра резким ударом выключила свет. Но я успел заметить, что поперек живота у парня виднелся гигантский шов, похожий на рыбий скелет.

Наступила сонная тишина.

Больной заворочался.

– Тебя как? – спросил его Кирилл с интересом.

– Димон... – невнятно сказал парень, скрипя железной сеткой.

– Что у тебя?

– Язва... – плечистый не договорил.

Кирилл не понял, но затих. Над кушеткой нового сопалатника витала усталость, по сравнению с которой все наши ахи и охи казались детсадом.

Вдруг наш новый сосед проговорил деловито, не открывая глаз:

– Братан, который постарше, помоги мне, а?

Я задумался, стоит ли вообще отвечать. Какой-то уголовный тон.

– Передвинь меня к этой самой... Там попрохладней.

Я, помедлив, встал, подвинул его, как мог.

Он закивал.

– Все, всё... спасибо, братан...

И моментально уснул, вплотную прижавшись к стене.

2 ноября.

Воскресенье

1

Я шагнул из лифта на первый этаж, и только теперь понял, что это почти выход в свет. В больничном холле былолюдно, как на базаре. Стыдливо спрятал мешок, тянувшийся из штанов: атавизм, от которого пора избавляться.

У ларька с едой выстроилась небольшая очередь – люди в пижамах и прилично одетые гости.

Вдруг увидел своих. Саня с бабой Лялей вглядывались в толпу, стоя возле кадки с невысокой пальмой.

– Саня, с днюхой! Три горизонтальных, два вертикальных – ууурра! Ура! Ура!

– Федя, ты что вообще? – укротила меня баба Ляля. – Что разоряешься-то? У тебя гангрена была. Сейчас швы разойдутся, будешь кряхтеть.

Сели у окна возле огромного завядшего горшка с геранью. За окном были высокие голубые ели и падал искрящийся снег. Скоро начнет алеть зимний, холодный закат, но пока поломанные жалюзи рубили солнечные потоки.

Холл был полон разговоров.

– Вот возьми, кипяток... – баба Ляля сунула мне под мышку очередной термос, упрятанный в полотенце.

– Ба, ну куда мне?

Рядом молодая девушка в халате василькового цвета, который ей очень шел, стояла в окружении огромной компании. Её мама в унисон доставала свои емкости и коробки.

– Двести граммов салатик, только чтоб съела...

Волосы у девушки были заколоты сзади будто бы наскоро, но озорно и лихо. Несмотря на заспанность и больничный вид, глаза были смешливые. Её обступили родственники – прямо здесь, не сняв пальто, крепко обнимали.

– К нам на шестой строго нельзя... – объяснила она.

– Это неважно, – сказал один и отделился от круга. – Ну, привет, зая.

Он достал из-за спины кипу мелких розочек, завернутых в шелестящий целлофан. Девушка переминалась в тапках со стразами на босу ногу. Обхватила цветы.

– Цени! – громко сказала мать.

Баба Ляля присмотрелась, шепнула уважительно:

– Это онкология тут...

Я вначале не понял. И вдруг заметил, что на уровне левой груди у девушки из халата торчит вата и выглядывают толстые бинты.

– Ты уж извини, чувак, подарка не получилось, – сказал я Сане.

– Какой подарок, мы уж думали, ты кони бросишь.

День был переменчивый, зыбкий, легкий, и я забыл, что мы с ним в ссоре. И он забыл.

– Саш, ну что ты такое говоришь! – бабушка посмотрела на меня с жалкой улыбкой. – С тобой рядом дядечка лежал, умер, да?..

– Да... – сказал я, не зная, какой сделать вывод. – Жуть с ружьем.

– Когда бабушка Стася умирала, она меня подозвала, – внезапно

заговорила баба Ляля. – Я вошла, всё поняла, а она последний раз так вздохнула – и как будто душа улетела. И форточка стукнула. В это время не надо кричать, шуметь, надо тихо-тихо... тихо-тихо...

Я замолк.

Слева от нас женщина объясняла содержимое пакетов бледному-бледному школьнику с тонкой шеей в клетчатой рубашке. А в дальнем углу, напротив них, страстно целовалась пара – он в драной водолазке, она в белом затасканном халате, обвив руками его голову, положив ноги ему на колени; тапок с её ноги свалился под сидушку откидного кресла.

– Ну, и когда тебя из психушки-то выпишут? – уточнил Саня.

– Да я хоть сейчас в футбольца, – похвастался я. – Хочешь, вон до той кадки добегу? Мешок в руки, и!..

Баба Ляля схватила меня за руку:

– Ты что, сбрендил?.. Сиди! Вот, книжки тебе какие-то притащили... кассеты тут, диски-фигиски... – она с недоверием посмотрела на принесенный скарб, прищурилась, совсем как мама. Придирчиво изучила обложку «Шагреновой кожи» со стертыми буквами, будто рассматривала противное насекомое. – А лучше дай мозгам отдохнуть...

– Сегодня праздновать будете? – спросил я без грусти.

Саня ответил железно:

– Нет.

Баба Ляля пояснила:

– У Сашки именины. Ирка наготовила три воза. Опять столы, гостей нагонит, подружек своих... училок... Пирогов каких-то налепила. А Сашка, между прочим, не хочет!

– Я свалю, – сказал Саня. – Пошли, что ль, пройдемся?

– Только не вздумай носиться, температуру нагонять! – крикнула баба Ляля вдогонку.

Мы с Саней побрели вдоль больших стеклянных окон с мятыми, криво приподнятыми железными шторками. Я старался идти плавно, с трудом разгибая пресс. Почти получалось. Саня с торжеством поплескал банкой «Спрайта»:

– А Феденьке нельзя! Ну, как операция-то?

– Операция-то нормально...

– ...но?

– Наркозик был... своеобразный...

И я уж хотел было рассказать, но Сане кто-то позвонил, и он деловито вынул из кармана мобильник. Воровато огляделся. Куда-то звали.

– Да. Да. Да, – он нажал «отбой». Говорить ему было неудобно: он тоже что-то таил.

За дверью, по ту сторону стекла, в черной куртке-бомбере дышал студеным паром мужик с перебинтованными ногами. Вокруг кресла, в котором он сидел, громоздились друзья в одинаковых кожаных куртках. Мужик затягивался сигаретой, которую держал, сутулясь, оковалком загипсованной руки. Он то и дело передергивал плечами в нервном тике.

Вдруг Саня спросил меня:

– А чё ты скрывал, что у тебя живот-то болит?

– Это кто тебе сказал? Вот ведь блин, – я хлопнул рукой по пемзовой колонне. – Не успеешь выйти из больницы, уже мифы начинаются. Дома, значит, ток-шоу устроили?

– Ой, ладно. А то я не знаю! – откликнулся брат. – Ты же машиной у нас не пользуешься. Она же тебе мозговые клеточки облучает. Феденька у нас интеллигентик, е..тыть. С шибко богатым внутренним миром, только уже без аппендикса.

За окном маленькая девочка обнимала бабушку. Та сидела в кресле-каталке, и с усилием прижимала внучку к себе. Девочка смиренно склоняла голову с двумя плетеными косичками, будто осознанно отдавала энергию, видно, понимала, что бабушке она необходима, стояла неподвижно, сдержанно, взросло, обхватив руками старческие плечи. Родственники улыбались, скрестив руки, а бабушка всё целовала девочку с какой-то экзальтацией в макушку и щеки.

– Что это за книжка у тебя? – спросил Саня.

Я показал ему «Мадам Бовари». Брат полистал. Прорекламировал, будто читая:

– «Рядом с ним стоял мальчонка в черном свитере и попивал "Спрайт". Федю он считал мозгляком...»

Барышня в васильковом халатике ткнула пальцем в грудь своему парню. В руках он снова держал хрупкие розы, а она обильно жестикулировала, шутливо поглядывая на него, рассказывая друзьям:

– Прошу у него мороженка... А он не несет... Грит, «врач не разрешает». Ну, хоть бы конфетку одну притащил! Чего молчишь?

– Да ты и так как в санатории, милая моя, – перебила мать осторожно.

– Да уж... – уныло сказала девушка, а потом опять отчего-то засмеялась.

– Ну, прогулялись? – баба Ляля, поглядывая вокруг, раздумывала о своем.

– Давай Саню за уши тянуть, – предложил я устало, и прорекламировал. – Полсотни пять – ну разве это годы? Повесить нос – в своем ли ты уме? Ты что, бывал в застенках у Ягоды, аль золотишко мыл на Колыме?..

Что-то опять заныло в брюхе. Я прислонился к стене, к пористому шершавому камню, в который были впечатаны древние ракушки. Но быстро прошло.

– Стой! – взвизгивал Кирилл. – Стой, говорю! ух, болит-то как! Все забываю разные ж...ы давать, вот сеструха и колет в одну и ту же, – он сощурился. – Ей-то что. А у меня вся таблица Менделеева в одной булке.

Я подстраховывал его, а он, сутулясь, пытался самостоятельно передвигаться, поднимая плечи, как бы подпрыгивая. Кирилл боялся перевязки и без умолку тараторил:

– Ты, кстати, в курсе, у Димона после операции икота была неделю? Швы разъезжаться стали, прикинь? Только недавно прошла. Он оттого и валяется, и ест одни сухари.

Румяная медсестра выглянула из дальнего кабинета, подозвала:

– Шестая! Вас вообще-то ждут.

Кирилл, почесав пузо, заранее охая, удалился в процедурную. Я согласился поддержать его горячую тарелку с манной кашей, чтобы озеро не выходило из берегов. Тарелка была с голубой каймой и отколотым краешком. Кусочек масла плавал в середине.

Я присел отдышаться, побыть в тишине. Только что в столовой я по-настоящему почувствовал голод, съел одним махом кашу и залпом выпил компот. Вкусно.

Вскоре Кирилл выглянул из двери.

– А сегодня ничё. Щекотно только. Сеструха швы щупает руками, как шнурки. Ещё бантика не хватает... Теперь твоя очередь. Может, эта трубка у тебя, которая из яйца ведет, перекрутилась? Проверься, – сказал он сипловато, и натужно загоготал. Перехватил кашу и с громким клацаньем стал скоблить ложкой по тарелке.

Сильный надрез становился глубокой царапиной. Трубку – главное мое мучение – по-прежнему не вынимали. Вопросов я больше не задавал.

И снова брели вдоль коридора с Кириллом. Прожорливый, задиристый, хотя и как будто полый, он сильно навалился на мое плечо. Я рад был ему помочь, но быстро устал.

– Киря, я до палаты... Можешь ещё погулять, а я – аллес.

– Один не буду. Задолбался.

И мы доволоклись до палаты. Я уверенно открыл дверь.

Первое, что предстало моим глазам – голая, без простыни, Димина кушетка.

Пустой полосатый матрац. Что с ним?

Я инстинктивно почувствовал, как слабеют колени.

Схватился рукой о железо кушеточной ограды. Треснул рукой об дверь.

– Чё встали в проходе? – спросила вошедшая санитарка.

– А Дима? – я недоуменно посмотрел на неё.

– Вернется ваш Дима, куда он денется, – сказала она с усмешкой. – В процедурную унесли. У него тут крошек полно. Сухари, что ли, грыз... Дашь мне пройти, я постель перестелю?

Я улегся, усмиряя ни с того ни с сего подскочивший адреналин, пока она сворачивала простынь. А Кирилл достал из-под подушки красную книжицу с анекдотами, стал читать монотонно, как гнусавый сатирик:

– Французенка просыпается после бурной ночи...

Диму вернули, положили, как обычно, полусидя. Он прислушивался, потом стал вяло смеяться полуоткрытым ртом, придерживая локтем живот. Вдруг изможденно сказал:

– Кирилл, пережди.

А тот, как назло, продолжал читать – монотонно, без выражения.

– Пережди, не надо... – повторил Дима едва слышно дрожащим от смеха голосом.

– Б..я, Кирилл! – почти крикнул я. – Просят тебя – заткнись!

Кирилл посмотрел на меня как на умалишенного.

Захлопнул книжку:

– Ладно, Федун. Я ничё. Я не обижаюсь. Психи у всех бывают. Мне кажется, тебя выпишут завтра. Арутюныч говорил.

– Твоими бы устами... – сказал я.

– У тебя встало?.. – и он продолжил читать.

Дима смиренно склонил голову, слушая тупые анекдоты, будто рассказы о какой-то диковинной жизни. Устало прижимал руку к животу, неожиданно, как-то забито смеясь.

Потом вынул откуда-то, будто из рукава, сухарик, погрыз, пожевал его немножко. При дневном свете у него оказались безобидные, неуклюжие жесты и напуганные, простецкие глаза. В общем, он уже не казался мне уголовником.

Потом стал медленно задремывать, полуоткрыв рот, закрыв глаза, как всегда, впритирку к стене.

3

Я вышел, щурясь на свет. Не спится что-то. Поброжу ещё.

Выходные, мертвый день для больницы. Врачей – никого.

Палаты заканчивались, и в небольшом холле на стульях сидели пенсионерки, женщина в ночной рубаше с банкой-присоской от давления на плече, странного вида дед в меховых тапках, похожий на старика-лесовика...

Мерцал экран, обливая зрителей серебряным светом.

Я увидел местечко на углу банкетки, и проходя через скопление людей,

сквозь запахи болезни, двинулся вслед за распорядительной бабулей-активисткой, которая взяла меня под руку:

– Вон, вон тебе местечко.

Подтянув мешок, я сел поближе к батарее. Бабуля с серьезным лицом изучила засаленную газету с программой и сказала парню в шароварах:

– Перекручивай на второй.

Парень на первом ряду, с головой, перевязанной белой марлей, нажал на кнопку. На экране мелькал танец четырех девиц в блестках и гавайских бусах. Их животы призывно лоснились.

Парень завис возле экрана в задумчивости. Послышался хохоток.

– Не на эту! – недовольно сказала бабка. – На вторую, – и не сумела сдержаться, посетовала в экран. – Дуры в плавках... с беечкой на заднице...

А на другом канале уже шли титры и начиналось кино. По сырой земле в закатном солнце куда-то брели военные шинели.

Мне нравилось пялиться в телевизор и почти не думать о тихой, едва слышной боли.

Впереди сидел лысоватый дед. Я узнал его. Это он храпел рядом со мной в коридоре в первую ночь, похожий на мумию, с причудливо перевязанной бинтами грудью. Сейчас он сплевывал в пригоршню косточки от вишневого варенья, которое добирал со дна банки, обхватив черенок столовой ложки, как художник держит кисть.

Он посидел-посидел, ещё поклацал ложкой о банку. Потом махнул рукой, медленно повернулся, обхватил стул пальцами с расплывшимися наколками-перстнями, похожими на родимые пятна.

– Курить пойдешь? – дед пошарил по карманам, подзывая молодого парня с рабоче-крестьянским лицом и перебинтованной головой. Тот с готовностью поднялся.

В этот момент я разглядел огромную и странную наколку на поросшей седым волосом груди деда. Там было написано по латыни: «Errare humanum est». Конец фразы терялся в бинтах с бурой, расплывшейся кровью, левее, где сердце.

Из телика звучала тревожная музыка.

Парень в белесом свете заходящего солнца, прикованный к скале, допивал воду из жестяного стакана. Он был обречен. Но вдруг ему в голову пришла догадка...

– Зачем он очки-то берет?.. – раздался недоуменный голос дядьки в жилетке на голое тело с задних рядов.

– Не знаю... – буркнула бабка.

– Огонь разжечь хочет, – пояснил я смущенно.

Мужик на экране тут же, как по заказу, стал разжигать огонь при помощи линз.

– А водой зачем на костер поливать?.. – спросил дед слева.
Я помолчал. Потом снова весомо подал голос:
– Сейчас камень раскрошится от перепадов температуры, он его раздолбит, и цепь вынет.
И это произошло. Народ на первом ряду оглянулся. Парень с гипсом сказал мне добродушно:
– О. Голова...
Бабулька с силиконовой чашкой-присоской на плече промолвила без иронии:
– Ишь... а то и не поймешь...
Я был горд собой.
Смотрели кино. Глаза стали слипаться. Навалилась слабость. Немудрено, я же съел две таблетки снотворного.
Привстал.
На меня доброжелательно посмотрели. И в этот момент я понял, что наврал.
Не то, чтобы прямо наврал, а понтанулся.
Я ведь уже два раза смотрел этот фильм. Про войну, про финна, русского и девушку, которая обоих пригрела на своей груди...
Зачем? Ведь я дал себе слово не лицемерить – ни в большом, ни в малом.
Ладно, я подумаю об этом завтра, – устал...
Переступил через ногу парня, который выставил негнувшийся гипс, положив голень на табурет.
Попятился вдоль стены. Потихоньку ушел.

3 ноября.

Понедельник

1

Я сидел на табурете. Мутная трубка шланга высывалась из полурасстегнутых спортивных штанов. В мешке на полу колыхалась какая-то жидкость, похожая на желе. Я смотрел на всё это, как на уродливую, но неизбежную часть тела.

Но сегодня настал момент, когда трубку должны были вынуть.

Арутюн Александрович подошел к столу. Я приготовился к разрывной боли.

– Ложиться? – я глянул на него снизу вверх.

– Нет, как раз не надо.

Он вежливыми руками ощупал повязку, не подступаясь грубо, стронул пухлый бинт. Отодрал пластырь. Я увидел шланг, уходящий куда-то в дырку, вглубь живота.

– Готов? – спросил Арутюн.

– А... что надо делать?

– Набрать воздуха, и выдыхать меееедленно, не торопясь.

Я вдохнул.

– Мало каши ел? Ещё, ещё... – Арутюн воздушно поднял ладонь вверх, будто давал указание хору для распевки.

Я набрал полную грудь. И он потащил. В этот момент из меня будто выползла змея. Я почувствовал, как трубка прошла по ране и выскочила, просто, легко, одним махом.

– Все. Чистенько, – сказал Арутюн. – А теперь швы.

Значит, это и есть самое болезненное.

Он корябающими, цепкими движениями дергал за нитки. У него были беглые, ловкие пальцы, будто он играл на арфе. Но загрубелая кожа ничего не чувствовала. Я искоса поглядывал на бурый йод, на то, как освобождался свежий шрам от ниток, похожих на налипшую жвачку.

– Всё, дружок, – мягко сказал доктор. – Готово дело. Мыться нельзя неделю. Рану не мочить. Физнагрузки в течение двух месяцев категорически... Вопросы?

– Меня что, выпишут?

– Опять торопыжишься? – мягко сказал он, и вдруг будто одарил. – До двенадцати подождать, и – вперед и с песней.

Кирилл ждал меня у двери перевязочной.

– Врачи – нелюди... нелюди... – бормотал он.

– Иди давай, – сказал я, всё ещё не веря сказанному.

Я уселся на лавке, и ждал его, чтобы опять курсировать по коридору. Но мысли были уже далеко. Внезапно я понял, что, возможно, сегодня вернусь домой. Роились думы: пропущенные встречи, звонки и улыбки. Душа сократилась до надежды, которая казалась почти несбыточной – выползти отсюда, из этих стен – поскорей.

2

– Погуляем? – предложил Кирилл.

– Времени нет, Киря. Шмотки надо собирать.

– Уже? – удивленно спросил он.

– Сам не знаю, – я почесал затылок.

Стараясь не греметь сбруей – Дима опять спал – я надел джинсы, которые ждали меня в шкафу. Затянул ремень. Получилось на две дырочки уже, чем когда-то. Торопливо сложил в мешок все свои бутылки и коробки. Как-то внезапно всё это, сумбур вместо музыки.

Кирилл, кажется, был в смятении.

Мелькнуло: мы с ним, наверно, никогда не увидимся. Как с обычным попутчиком в поезде. Спросить его номер? Неужели у всех спрашивать номера? Что нас будет объединять, кроме боли?

– Как же я без тебя ходить буду?.. – сказал он. – Ты мне хоть соку оставишь?

– Там есть... Ну, пойдем, пойдем прогуляемся.

Я схватил его худую ладонь. Вышли из палаты. Он плелся, ковылял. Я старался попасть в ритм его медленных шагов, хотя мне хотелось бежать.

Он вцепился в руку, не хотел отпускать.

– Давай дальше сам, – сказал я.

Кирилл сделал первый шаг, сначала зашикал, потом пошел поувереннее.

Вдруг у меня зазвонил мобильный.

– Федь, ты на каком этапе? – громко сказал папа.

Это значило, что пора спускаться вниз.

– Щас буду! – сказал я, и ещё сильнее занервничал.

Мы добрили до дверей отделения.

– Пока, – бросил Кирилл как-то обиженно.

Вдруг он прошлепал ладонями и кулаками, два притопа, три прихлопа, – неумело, но с душой.

– Потрясающе! – сказал я. – Я уйду... Димона будить не буду. Скажи ему за меня «пока». Желаю тебе выздороветь поскорей. Вырасти большим и крепким мужиком. И никогда сюда больше не попадать.

– Лана, – вдруг сказал Кирилл. – Пойду, что ли, в тубзик. В животе атомная война...

Я стал вызывать лифт, но тут возникло подозрение, что я что-то забыл.

Торопливо заспешил по коридору. Вернулся в свою – уже чужую – палату.

Бросил взгляд на зеркало, и увидел, что под ним лежал забытый помазок для бритья. Не могу, не могу его взять с собой.

Медсестра стояла напротив окна и заправляла мою экс-кровать. Голый матрац покрыла чистая простыня. То, что в мозгу прочно ассоциировалось со смертью.

Окно было открыто. Оттуда несло морозом.

Рядом в полосатых шароварах и с гербом на майке переминался с ноги на ногу приземистый кавказец с небритой, широкой челюстью.

– Прошу прощения, – сказал я, и потянулся к тумбочке.

На драной книжке «Мадам Бовари» уже лежало что-то вроде напульсника с веревочками – черного, с выдавленной на нем арабской вязью. Я переложил эту штуку на тумбочку, а книжку взял.

Второпях заглянул под кушетку.

Увидел свою тетрадь, в которой я пробовал зарисовать привидевшиеся мне чернильные пятна.

Не надо!

Пусть себе валяется там, у стены.

3

В замерзших окнах пульсировало солнце. Стояли в безобидной, недолгой пробке. Дубленка топорщилась. Я ехал домой.

Я мог думать. Спать. Дышать.

Ускорились. Урчал мотор.

Папа вел.

Я смотрел на знакомую котельню. Пар столбом валил прямо вверх в морозном воздухе, будто из гигантской печной трубы клубился дым. Кирпич, освещенный прямым красноватым солнцем, ярко рябил в глазах.

Папе назойливо звонили.

Он неохотно взял мобильник, выслушал чей-то взволнованный монолог, кратко, спокойно утвердил:

– Поймите, это белая горячка. Надо его скрутить. Как угодно. С кем угодно. Либо вызвать милицию. Ну, мужиков наймите... Что, опять запер вас в ванной? Конечно, в таком виде он опасен для себя и вас. Удалось выйти? А, уже спит?.. Ему нужно три дня, чтобы в норму прийти... Я чуть позже перезвоню.

– Кто?.. – спросил я.

Папа только сжал губы, помотал головой в зеркальце заднего вида.

Лес, заиндевелый, прозрачный, заканчивался, замелькали многоэтажки. У их подножья чернели фигуры людей. Кто-то гулял с пуделем, который был модно одет в утепляющий, кислотного цвета, костюм. Дядька с кейсом перед тем, как выйти на шоссе, пытался перепрыгнуть через снежный навал, смешавшийся с песком, похожий на раскрошенное печенье.

Двое пацанов, прячась между машинами на парковке, болтая грушевидными мешками со сменкой, бросались снегом.

Снег был нелипкий, снежки летели и искрились льдом, как сгорающие кометы. Один школьник появился из-за гаража, таща на плече большую ледышку. Пытался напугать второго, затаившись, на ложном замахе, чтобы обрушить на него огромный, разваливающийся снеговой кусок. Но льдыха полетела мимо, рассыпалась под ногами, блестя на солнце, звеня.

Тот залиvisto заржал, снова скрылся за гаражом-ракушкой.

Мы вышли из привычного запаха старой «Лады» в морозный, перехватывающий дыхание воздух.

Наверху было голубое небо со слоистыми, перистыми облаками. Прислонившись к стене нашего гаража, я ловил ртом летевшие снежинки.

Ходил по коридору родного дома. Рассматривал знакомые выщербины паркета. Совсем не болело, только чуть-чуть тянуло в месте шва. И то из-за повязки на пластыре.

В комнате на диване лежал Саня.

– Явился, – сказал он спросонья. – Слышь, – он нашарил на полу очки и протер стеклышки боксерскими трусами. – Викторина: как звали отца и мать Пеле?

– Отца – Дондиньо, мать – дона Селеста, – лениво отчеканил я.

– Назови диаметр футбольного мяча.

– Отстань... Ну, двадцать сантиметров.

– Неправильно. Двадцать один. Выбирай категорию.

Я промолвил с неохотой:

– Современные футболисты...

– Что делает Тарибо Уэст при переходе в другой клуб?

– Господин ведущий, отвали ты от меня...

– Красит волосы в цвета этого клуба, болван! Маш, видишь, какой Федя противный у нас растет?

Сестра сидела на соседнем диване в школьной форме и наушниках, подобрав ноги. Она слушала музыку.

Саня снова окликнул её:

– Маш! Давай «Эхо» послушаем!

Она ответила Сане – по-Саниному, не вынимая бананов из ушей:

– Я не слышу.

– Как хочешь, – обиженно сказал он.

– Марусь! Ку-ку! – почти крикнул я.

Она наконец меня увидела, вяло подозвала:

– Ой, Федюш!.. Иди, я тебя обниму.

Поцеловались. Она снова надела наушники.

Вдруг раздался звонок домофона.

– Дверка открывается, – приветливо сказала Ирина Михайловна очередным ученикам.

Саня промолвил хрипло, набирая первое за день сообщение на мобильнике:

– С другими мать бы общалась, как с нами, они бы взвыли! А с нами бы, как с ними, – вот рай.

Мать опрометью вбежала в комнату, поставила на пол таз:

– Белье повесьте!

– Я занят, – ответил Саня.

– Он занят! – мама остановилась. – Х..р ли тебе делать! Старое сними, новое

повесь, давай в темпе! – и хотела уже убежать, но вдруг вгляделась в мое лицо. – Федьк, подойди-ка... У тебя на носу... черные точки. В ванной скраб стоит, умойся!

Наконец, раздав ценные указания, она исчезла.

– Федь, повесь вещи, – сказал Саня лениво. – А, ну да... У тебя же аппендикс. Маш, повесь вещи.

– Я не могу, – отозвалась Маша, и вновь погрузилась в музыку.

– Машеньку надо сначала погладить, – Саня взял с гладильной доски холодный утюг, и прислонил ей к спине.

– Ты что, идиот? – Маша отскочила, приготовившись зарыдать.

На балкон пришлось идти мне. Я вылез на мороз, сбросил в таз высохшие рубашки, напивавшиеся холодом. Ко мне вернулись мои вещи. Это надо осмыслить. Потом. А сейчас – ходить, чтобы не было спаек.

Я заскрипел половицами по коридору, почапал в сторону папиного кабинета. Дернул ручку двери.

На стуле с закрытыми глазами сидела пациентка в трансе. Отец приставил палец ко рту: мол, тихо!

Я испуганно прикрыл дверь, и в смущении вернулся на кухню. Баба Галя шваброй закрывала окно, подступаясь к форточке, будто шла с рогатиной на медведя. Обернулась:

– Бутербродик с маслом съешь. Хлеб хороший, раменский, не крошится! Не то что ваш, одинцовский!

– Мне много масла нельзя теперь.

– Так я сниму! Масло тоже надо есть. Кишочки смазывать. Кисельку попей. А то ты какой-то не такой стал. Прямо в лицо переменялся, – баба Галя сощурилась, посмотрела на меня снизу вверх, и всхлипнула. – Мне когда Лялька сказала, что с тобой вся эта антимония-то, я приехала... – голос прервался. – Я за тебя Бога молила, чтоб Феденьке помог...

– Бабуль, – я обнял её.

Повеяло валерьянкой. На кухню, озираясь, вбежал Саня в трусах. Схватил мандарин из вазы и стал плотоядно сдирать с него кожуру.

– Начинается... – промолвил он. – Ты ещё вспомни, как Феденька в институт поступал.

Я тоже положил на зуб дольку первого за зиму мандарина. Из большой комнаты доносился переливчатый голос футбольного комментатора Виктора Гусева – тоже, можно сказать, члена семьи.

Снова трезвонил домофон. Баба Галя первой подбежала к трубке:

– Кто идет?.. – спросила она. – Таких не знаем! – и все же, как бы нехотя, открыла дверь, громко пояснив. – Лялька.

Баба Ляля, войдя, бросила Сане свежую газету, присела на лавку,

тяжело дыша, устав с дороги.

Баба Галя отодвинула штору:

– Видела, какой град был позавчера? С грецкий орех...

– Н-да! С капусту! – откликнулась баба Ляля с нескрываемым скепсисом. – Не говори уж ерунду.

– Ничего не ерунду!.. – повысила голос баба Галя.

Это было началом серьезной дискуссии.

Я мерил шагами большую комнату. Саня лежал на диване, высунул нос из-под «Спорт-экспресса»:

– Ну, что ты, как бенши, шляешься? Сядь.

У бабы Гали и бабы Ляли кухонный спор достиг предельного накала, перекинувшись, как пожар, на проблему квашеной капусты.

– «Укисает»! – баба Ляля насмешливо захохотала, смехом, одинаковым с бабы Галиным, выдававшим, что они сестры. – Уж две недели она у тебя укисает. Говорят же тебе, нужно квасить на новолу-ни-е.

– Ага, – не поверила баба Галя. – Говорят, что кур доят, а как пришли, так и сисек не нашли...

Вдруг баба Ляля увидела меня в дверях.

– Ой, Федюшк, ну как ты? Ел что-нибудь? А то скоро ноги таскать не будешь.

– Он не хочет, – сказала баба Галя.

– Всё он хочет! Щас я тебе бутербродик с колбаской сделаю. Смотри, какая вкуснятина! Вкус специфический! – баба Ляля подошла к холодильнику, но застыла перед счетом за электричество, прилепленным на дверцу. – Вы что вообще?.. Вам же пени начислят. Пойду сейчас оплачу. Ой, безалаберность!

В холодильнике загорелся свет. Но здесь бабу Лялю ждал новый сюрприз.

– Всю колбасу сожрали с бутербродов! Один хлеб оставили! Это кто? Андрей, наверное...

– Или Сашка, – предположила баба Галя.

– Ну, и ладно, – сказал я.

А сам безвольно рухнул на табурет.

– Хошь супечика? – сказала баба Ляля азартно, вытаскивая кастрюлю. – И селедочки?.. За милую душу навернешь!

– Я! Не! Хочу! – зло сказал я.

– Совсем больной, – констатировала баба Ляля. – Ты же психичка. Тебя надо лечить прям каждый день. Ну-ка, ну-ка...

– Чего?.. – сказал я с опаской.

Она взяла сумку, стала в ней рыться.

– У меня тут есть такие таблеточки... Я давно тебе купила.

– Какие ещё...

– «Шалун».
– Что?!
– Таблетками тебя надо. Таблетками... – баба Ляля развернула инструкцию, будто обнаружила сокровище. – Они маленькие такие, хорошенькие. Их даже детям дают.

Я проглядел инструкцию успокоительного:

– Лучше Сане впарь. Он у нас такой шалун.

– А вам обоим надо. Он тоже ночью скачет. Не спит до двух. А потом институт просыпает. Будешь пить?

– Знаешь, ба, я таблеток в последнее время наелся.

– Ну, тогда возьми фрукт...

И она властно шлепнула об стол мандарином.

Донесся Сашин голос из комнаты:

– Федь, иди.

– Куда идти? – с тревогой спросил я.

– Ну, в задницу.

Я не ответил на его подколку.

...На меня навалилось сознание того, что я пропустил неделю учёбы. И что скоро сессия.

– Где, Федь, где? – не унимался Саня.

– Что «где»? – встрепенулся я.

– Твоя совесть.

– Очень смешно.

– Я серьезно, слышь, иди сюда...

Я покорно вошел к нему.

– Не, я не понимаю, как ты живешь, – сказал Саня, сложив газету. – Нефутбольная ты душа. Ничего тебе не нужно. Тебе лишь бы три одеяла... Ну, хошь, капучино сварю? Тебе кофе можно?

– Наверно...

Он стал варить кофе. Разнесся кофейный запах. Пользуясь моментом, пока его не было в комнате, я прилег на его диван.

– Ну, идешь? – позвал Саня.

– Ага... – сказал я, почти уснув.

Зазвонил домофон.

Я уже кажется и не слышал. Саня внес в комнату кофе.

– Жри, аспид. Я тебе сахару положил три ложки...

Но вдруг он увидел на своем диване меня, понял мое вероломство.

– Не мог бы ты артефакты убрать с кровати?

«Артефактами» папа называет брошенные носки.

– Какие?.. – сонно сказал я.

– Свое тело.

Саня протянул мне пенную чашку.

Я освободил койкоместо, встал к окну. С балкона доносился морозный запах квашеной капусты. Забеленный метелью двор полоскался, как рубашка в руках у прачки. Дворник где-то там греб лопатой рыхлый снег, скоблил наледь. Скрежещущие звуки гулко разносились по двору.

Саня, взяв в руки пыльную электрогитару, стал перебирать струны.

– Мне сегодня сон приснился, – сообщил он. – Стадион «Уэмбли» перестраивали. Построили у нас. На месте поля, куда цирк приезжает. И там Бенфика с «зелеными» играла. Так круто...

– Ещё чего не хватало, – сказал я, оттолкнувшись затылком от стекла. – Уйду я от вас.

Только в кабинет не суйся, – предупредил Саня. – Там у батяни пациентка. Я уж проверял. Щас захожу. Баба сидит такая, раскачивается. Он мне показывает: мол, отвали.

– Знакомая картина.

Брат окликнул меня:

– Федь?

Оглянулся. Он беззвучно указал острым подбородком на взятый аккорд. Была зажата только одна струна. Но главное, каким пальцем.

– Очень смешно... – мрачно сказал я, и опять остановился в каком-то столбняке.

За спиной послышались позывные его мобильного. Он, подпрыгнув, вскочил с дивана, опрыскал себя одеколоном с головы до ног.

– Эй, ты, – окликнул он. – У тебя есть билеты банка России?.. Много?

Я достал из джинсов слежавшиеся десятки.

Баба Галя вошла к нам, помахала руками, разгоняя одеколонный дух:

– Ну и вонищу развел...

Уточнила у Сани.

– Ты далЁко?

– ДалЁко.

– Давай дуй... до горы. А с горы пешком пойдешь.

Я снова лег на Санин диван. Баба Галя включила утюг, стала гладить. Я почти задремал, но то и дело просыпался: бабушка набирала воды в рот и, интенсивно фыркая, брызгалась на белье.

И шипел утюг, и валил пар.

Не уснуть. Поднял себя. Подошел к столу. Рядом с программками матчей и наклейками футболистов валялся листок, который пересекала надпись Саниним округлым почерком, розовой, с блестками, Машиной гелевой ручкой. На

листке было написано: «Феде кассеты и Шогренивая кожа».

Значит, заботился обо мне.

Маша подвинула меня локтем.

– Федь, уйди, я буду уроки делать...

На обоях в цветочек ночью после выпускного я написал стихи, когда-то казавшиеся мне гениальными. После этого домашние некоторое время считали меня сумасшедшим. Сейчас карандаш истерся, а ручка не совсем.

Стертые наивные надписи угадывались на стене.

5

Скомкал старые листки. Все это в прошлом. Теперь я свободен. Буду писать, как хочу! Но вначале – дочитаю «Мадам Бовари». Роман, где все как в жизни, и все – как не бывает. Роман с его ограниченностью и прелестью, вымыслом, прямой ложью.

Завтра я ещё дома, а в среду – в универ. Надо одежду найти поприличней.

Что ещё?

Собрать на завтра рюкзак...

Я вынул книжки. На дне обнаружил сломанный карандаш, просроченную карточку метро, пустую пачку от орешков.

Да – вернуть Жене деньги...

А ведь в какой-то момент было совсем не страшно.

Не было чувств, только решимость. Умереть так умереть, лишь бы не было боли, преодолеть её любым способом, пронырнуть в узкое горлышко. Это как мускулы, разогретые для прыжка. А сейчас?

Ну, в конце концов, нельзя всё время быть на краю. Инстинкт самосохранения говорит – нужно любой ценой откатиться подальше от обрыва, к середине плато.

Звякнуть, может быть, Ярику, другу закадычному? Рассказать обо всем.

Он ведь ещё на парах...

Значит, остается ходить.

– Федь, – сказала баба Галя, выйдя на балкон.

– Ну, чего?

– Встань сюда, – она подозвала меня к окошку рядом с собой. – Ты слышишь? Как пылесос, стонет как будто.

За окном зиял протяжный звук.

– Это на стройке сирена, – предположил я со скукой в голосе.

– Думаешь? Раньше такого не было. Чё-т такое: и-у-и-у-иу. Прямо спать мешает.

– Сирена же, говорю...

Саня вернулся, разгоряченный, веселый.
Скинул с себя свитер. Голый до пояса, протиснулся между нами, высунулся в форточку, засвистел, заорал в ночь:
– Город, слушай меня! Ло-ко! Ло-ко!
На крик вбежала баба Ляля в ночнушке, округлив глаза:
– Ты что вообще? Тебе таблетки надо пить, – и добавила мне. – А ты тоже не засиживайся дотемнища. «Шалун» возле сахарницы.
Стены в цветочек встречали меня.

Эпилог

С тех пор прошло много лет. Год я вырывал Катю из души, сам себя обманывая, что могу без неё. И вдруг понял, что всё. Отпустило.
Моя судьба – другая. И все давно по-другому. Я закончил универ. Все разошлись кто куда. У многих дети. У Лены, говорят, двойня. У Севы, говорят, сын.
Шрам побледнел. Я к нему привык.
Кирилл – что с ним теперь? Наверное, уже бородатый...
Я – репетитор. Учю детей английскому. Ночью пишу роман. Вот и сейчас пытаюсь.
Живу трудно, но счастливо. Особенно непрост вечер понедельника, когда у меня восемь учеников.
Сегодня понедельник.
Ночь. В тиши крикают клавиши.
– Федь, я так уснуть не могу... – Даша, моя жена, с недовольством привстала.
– Что ты там пишешь?
– Ничего не пишу, – я с досадой отвернул лампочку к стене, и повалился утомленной спиной на кровать.
Между нами спал сын.
Неожиданно она всхлипнула:
– Ты что, боишься смерти?.. Я читала...
– Зачем? Это незавершенка...
– Ты что, боишься?
– Дашунька, ну, что за вопросы. Когда как. Иногда не боюсь. Иногда... А вообще – не надо усложнять.
Жена выглянула из-за подушки. И я увидел, что глаза наполнились слезами.
– Ничего не хочется делать, потому что все смоеет время, – тяжело сказала она.
– Ну, приехали, – мне не хотелось заводить такой разговор. – Это послеродовая депрессия, милая моя.

Но она меня уже не слушала.

– ...я тоже в детстве думала: как это лежать и не могу пойти, сдвинуться, ничего не могу. Как это: *меня нет*. Стрёмно...

– Это просто день. Какой-нибудь четверг или какая-нибудь пятница. А дальше...

– Нету никакого дальше, – громко перебила Даша. – Мое тело – точно такое же. Только оно – не я. С тобой происходит что-то. А после – ничего.

– Почему – *ничего*? – я протянул руку и захлопнул ноутбук.

– Тише! Малыша разбудишь!

– Ну, разве не радостно, что все вернется? Что все никуда не денется? Думать про пустоту – для человека неестественно. Это заворот кишок. Я знаю, что люди не умирают.

Всхлип.

– Верить... – сказала она, и я понял, что она не слушала, – это как в деда Мороза... И охота тебе писать про смерть? Почитай культурологов. Были люди с другими представлениями о смерти, а до этого – вообще совершенно другими. Каждый народ утешается, как может.

Надо вовремя закрывать файлы.

Все равно что выйти на люди с расстегнутой ширинкой.

– Просто у нас логика человеческая, – шепнул я. – И она обманывает. Быть храбрыми – необходимо. Не просто можно, а нужно. Для жизни.

– А как же ребеночек? – Даша вытерла слезы запястьем. – Младенцы, некрещеные – куда переходят?

– Я не знаю, – я попытался её обнять.

– Как ребенок может умереть? – Вывернулась. Всхлип. – Хоть бы никто не умирал.

– Глупындра. Понимаешь, ты озабочена этой проблемой больше, чем твой сынок. Ты ведь уже родилась. Это не чудо?

– Меня не спрашивали.

– Значит, призвана для чего-то в мир...

Устали.

– Ладно. Я тебя утешить никак не смогу. Все результаты – ничтожны у человека, который однажды испугался смерти. Надо любить всех вокруг, надо...

– Демагогия, – сказала она. – Любить всех – это значит, все остаются для тебя равно безразличны. А мне просто страшно.

– Ну, прекрати. Что на тебя накатило?.. Ты думаешь, я об этом не думаю?..

Я поцеловал её во влажную щеку, в ухо.

Нет нужных слов. А когда-то, вроде бы, были. Шрам, вот он – затвердевший, и совсем не болит.

– Слушай, – внезапно вспомнил я. – Вчера батькин гараж увезли,

расширяют дорогу. А на фотокарте из космоса – я сегодня видел, – есть гараж!

Она не ответила.

Полночь. Спать пора.

Я тихо выключил лампу, но с грохотом задел горшок.

– Что ты как слон? – она утерла слезы.

– Ничего! – ответил я примирительно. – Тс-с...

Лег рядом, чувствуя тепло нашего мирно спящего сына. Схватил её маленькую ладонь. Она сжала мою в ответ.

Сегодня превратилось во вчера.

...Мне приснился очень странный сон.

кладбище – но не могилы на нем, а решетчатые койки. Под толстенными одеялами спрятаны трупы.

молюсь, и так мутно на душе. Отхожу от рва. Я услышал, как один из могильщиков говорит про них:

– эти – ожидают погребения...

и я знаю, что под байковым одеялом лежит покойник, почти мальчик, от силы лет восемнадцать, сын каких-то знакомых, в мелких веснушках, но с бурым лицом. Он лежит неподвижно, как доска.

вдруг он поворачивается набок, толстое одеяло шевелится, спадает, и у него открываются глаза – обретают ясность – в бледных, землистых подглазьях. Я это увидел первым, и в ужасе шепчу:

– Он воскрес.

парень вылезает из-под одеяла, встает радостно, шарахаясь. Я отшатываюсь от него, и сам стыжусь своего страха. Я вижу, что он оживает, но ему жутко холодно.

шугаясь, подхожу к нему, протягиваю свой пиджак. Он молча и цепко его хватает. Дрожа, как осенний лист, набрасывает себе на плечи, греет артритные руки, скрюченные спазмом.

а церковь – рядом, только по дорожке пройти.

внезапно все начинают петь.

бесконечно, радостно тянется «Верую», и поют верные слова, но на мелодию совершенно незнакомую. Не могу подпеть в лад. Солнце гуляет в вазах с цветами, золотым лучом на бледно-голубых недописанных фресках. И взгляды плывут наверх, по спирали, к лазури. Отблеск розового солнца на куполе, на сфере. Вроде, весна...

и парень качается вместе с другими, в моем пиджаке кремового цвета, накинутом на плечи.

Что ж, пропал костюм – единственная приличная выходная одежда, надеванная всего пару раз – на защиту диплома, потом на свадьбу. Я ведь не смогу надеть его после этого парня из могилы. Пусть носит.

«Иди и не греши, чтоб не случилось с тобой горшего? худшего?...»
не помню.

слышу за спиною, кто-то бормочет – то ли живой, то ли неживой, то ли сам парень, то ли я: «ну, воскрес. Что ж теперь, тельняху рвать?...»

а потом нам с Дашей предоставляют квартиру согласно каким-то неожиданным льготам, и мы с нею идем туда жить.

я открываю скрипучую дверь темного подъезда. Все помаленьку обживается.
садимся за стол. Ломая, жуем шоколадку.

думаю: надо ввернуть лампочку. Чтоб был уют.

вот щас вверну лампочку в цоколь. Качается хлипкий табурет.

Но от страха, что упаду, просыпаюсь...

Начиналось утро.

Было ещё темно.

Что-то щекотало запястье.

Я открыл глаза.

Руку кололи забытая ручка и бумажки. Хотел записать сон, но он становился плоским. Стало душно.

Я вышел в майке на балкон нашей съемной квартиры, оставил дверь приоткрытой. Мои мирно спали. По неровному потолку ползали размытые белые квадраты, отблески фар.

Глянул на двор.

Вся трава была в инее.

Как всегда в первый раз падал снег.

к о н е ц

*Ноябрь 2003 – февраль 2012.
Одинцово – Красногорск –
Рига – Севастополь – Дубки –
станция Раздорская – Одинцово.*

* * *

Мой роман – не вымысел, но и не обвинительный акт, а попытка литературы.

Спасибо друзьям и родным, которые выносили меня в трудные минуты жизни и казавшиеся безнадежными моменты письма, терпели мои заскоки – благодарю их за помощь, добро и поддержку!

Благодарю за помощь Наталью Жеглову, Петра Матвеевича, Пашу. Сердечное спасибо Даше, Сане, Лёше – за то, что всё поняли правильно. Благодарю Николая Поселягина, поддержавшего мой замысел в самом начале.

Спасибо всем, кто не отказал в совете и помог избежать многих заблуждений, всем, кто искренне делился впечатлениями.

...За эту рукопись в ответе только автор.